



18+

Василий Казаринов

ТВАРЬ ПЕЧАЛЬНАЯ*

приключения студента
в «журнале для взрослых»

РОМАН

***Omne animal triste post coitum est (лат.)**
Всякая тварь после соития печальна

Василий Казаринов

Тварь печальная. Роман

«Издательские решения»

Казаринов В.

Тварь печальная. Роман / В. Казаринов — «Издательские решения»,

Сочинитель «сказок для взрослых»? Опасная профессия. Особенно в слетевшем с катушек городе, который недавно пережил дефолт. Вчерашнему студенту несказанно везет — ему удастся устроиться курьером в бульварный «журнальчик для взрослых». Тут-то и начинаются приключения...

При загадочных обстоятельствах один из авторов журнала, клепавших «эротическую прозу», пропадает без вести. Странствуя в поисках бульварного писаки, курьер понимает, что в сошедшем с ума городе хватает желающих свернуть ему шею.

© Казаринов В.

© Издательские решения

Содержание

Глава первая. Душной ночью в Тамани	6
Глава вторая. Китайская ваза	24
Глава третья. Пурпурная тетрадь	45
Глава четвертая. Вихри враждебные	60
Глава пятая. Обнаженная с яблоком	79
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Тварь печальная Роман

Василий Казаринов

© Василий Казаринов, 2026

ISBN 978-5-0070-9108-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая. Душной ночью в Тамани

Горьковатый запах степной полыни, смутно витавший на лестничной площадке около двери писаки, должен был бы меня насторожить... Уже хотя бы потому насторожить, что присутствие его в парадном старого дома, добротного сработанного сразу после войны пленными немцами, имело отчетливый мистический подтекст: именно этим запахом была насквозь пропитана новелла Абросимова, прочитанная мною всего-то час тому назад.

Знать бы наперед, что спустя пять минут меня будут убивать, я бы повел себя куда как осторожней и призадумался бы — что-то здесь не так! — уже в тот момент, когда, взойдя на второй этаж, приподнялся на цыпочки и открыл металлическую дверку, прикрывавшую крохотную нишу с электрораспределительным щитком. Пошарив пальцами по пыльному дну ниши, я не нашел на привычном месте ключи от квартиры — Абросимов держал тут второй комплект на всякий случай, он сам мне об этом сказал, когда я пару недель назад зашел к нему в гости.

Не нашел я странным и тот факт, что обтянутая шершавым, местами потрескавшимся дерматином, дверь плавно подалась в ответ на касание моей ладони — деталь эту я списал на типичную для писаки, вечно витавшего в творческих эмпиреях, рассеянность — он попросту забыл запереть дверь.

Собственно, сигнал тревоги прозвучал несколькими минутами раньше, когда я входил под низкую каменную арку, открывавшую путь в тесные пределы уютного дворика с давно засохшей клумбой, из центра которой вырастала лепная ваза в форме распускающегося цветка. Предвкушение скорого выпивона по случаю моей первой зарплаты притупило тот инстинкт самосохранения, что обострился в условиях грянувшего в августе конца света, когда толпы бесприютных людей шлялись по улицам с намерением приласкать позднего прохожего по голове арматурным прутком, чтобы выпотрошить его карманы... Потому я не обратил внимание на то, что физиономия припаркованного около парадного «Жигуля», принадлежавшего Абросимову, выглядит ненормально — правый глаз выбит, и челюсть свернута на бок, губа переднего бампера косо свисала направо, да и решетка радиатора была покорежена.

Так или иначе, я шагнул за порог.

Пошарив в рюкзачке, я выудил из него маленький, крепящийся на лбу с помощью ремешков, плотно охватывающих голову, фонарик гало, с которым я катался на лыжах в горах.

Фонарик приходилось таскать с собой, потому что в нашем парадном на Полянке никогда не было света — обитатели дома регулярно выворачивали лампочки, возможно, затем, чтобы продать их на каком-нибудь блошином рынке. После того памятного августовского дня, когда в телеящике возник не по годам плешивый человечек с лицом мелкого грызуна и сообщил, что наша страна ни фига ни по каким долгам платить не будет, и даже самый распоследний простец прочувствовал своим тощим желудком едкий, уксусный привкус неведомого доселе словечка «дефолт», очумевший от безденежья народ принялся зарабатывать кто как мог. Словом, горный фонарик я повсюду таскал с собой.

Гало пятнышком тускло молочного света уставилось в пол, и я двинулся вперед по коридору.

Планировка квартиры была мне знакома. Справа должна возникнуть дверь в малую комнату, служившую Абросимову кабинетом. Задержавшись около нее, я и полным голосом гаркнул в темный пенал коридора:

— Абросимов!

Никто не отозвался. Я двинулся вперед. Правая дверь вела в большую комнату, служившую хозяину дома чем-то средним между спальней и гостиной. Никого.

Развернувшись на 180 градусов, я, минуя туалет и ванную, пошаркал в кухню, представлявшую собой тесный куб, в которой смогли с трудом впихнуться газовая плита, кухонный шкафчик над мойкой, примыкавший к окну квадратный кухонный стол и маленький диванчик вдоль левой стены.

Все вроде на месте.

Мутный взгляд гало уперся в слезящееся влагой окно, в правой створке которого темнела круглая родинка, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении аккуратной, диаметром примерно с большой палец руки, дырочкой в стекле.

Рассматривая дырочку, отороченную витиеватой, молочного оттенка вязью микротрещин, я должен был бы сообразить, что идеально круглое это отверстие не выклевала любопытная птица, присевшая на карниз и принявшая долбить клювом в стекло — ее могла выклевать только пущенная с достаточно близкого расстояния пуля... Однако и эта мысль почему-то не постучалась в мою расслабленную голову.

На кухонном столе валялся предпоследний номер нашего журнальчика, припечатанный наполовину опустошенной бутылкой водки.

— Ну, разумеется. Водка и Основной инстинкт.

Невероятно, но факт. Положив зубы на полку, народ упорно тратил последние деньги на наш журнальчик, тиражи которого росли как на дрожжах. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Если что и приносило еще прибыль этой сумрачной осенью 1998 года, то это разве что две индустрии — водка и основной инстинкт — остальные отрасли бизнеса загнулись.

Характер духовной пищи, которой мы потчевали народ, был очерчен в сиротливо притулившимся под логотипом подзаголовком: «Журнал для мужчин». Что касается Абросимова, то он вот уже больше года поставлял для нашего журнальчика тексты в рубрику «ГОРЯЧАЯ ИСТОРИЯ».

Я вернулся в коридор, толкнул дверь кабинета, и задержался на пороге: здесь горький полынный запах был гораздо гуще. Скорее всего, его источник располагался в районе компьютерного столика, ведь ровно такой аромат источали бумажные конверты с допотопными пятидюймовыми дискетами, на которых Абросимов притаскивал в редакцию файлы со своими творениями.

Я прошел к столу, на котором стояло нечто, что когда-то называлось компьютером (машинка типа ХТ, с крошечным харддиском), а теперь смотрелось осколком каких-то ветхозаветных времен, когда люди пользовались пятидюймовыми дискетами и набивали свои тексты с помощью допотопных редакторов вроде программки ARM-BRIF. Погладив крохотный монитор, я уловил ладонью дыхание тепла: совсем недавно на этой машинке кто-то работал.

Волна полынного запаха накатила на меня сзади.

Я хотел было обернуться, но не успел: что-то тяжелое ухнуло мне прямо в затылок, и я рухнул на пол.

2.

Иван Ильич Преображенский, известный узкому кругу знакомых как автор романтических поэм, так и не добравшихся в рукописях до типографского наборного станка, трясся в бричке, с наслаждением вдыхая терпкий степной воздух, настоенный на горьковатом запахе полыни и каких-то еще духовитых трав, название которых были молодому человеку неведомы.

Строго говоря, и полынный дух был скорее порождением его пылкого воображения, ибо из литературы Иван Ильич твердо знал, что где степь, там и полынь.

— Ах, хорошо! — шумно потянув носом воздух, сам себе объявил Иван Ильич, чуть привставая с жесткого бугристого сидения повозки с тем, чтобы оглядеть окрестности.

На самом деле, ничего радующего глаз человек трезвый и здравомыслящий в открывавшемся взгляду пейзаже не отметил бы: иссушенная долгой засухой рыжая степь, широко, бес-

предельно распахивавшаяся по сторонам валкой, густо пылящей грунтовой дороги, была, в общем, нестерпимо уныла в своем ровном течении к горизонтам. Дождей в этих краях не было, почитай, с середины июля, а теперь на дворе стоял конец сентября.

Иван Ильич, глянув на давно перешедшее точку зенита солнце, испытал неприятное ощущение зрительного ожога — перед глазами возникли неясной формы желтоватые круги, зыбко колышущиеся наподобие того, как плавно покачивался желтый, густо пропитанный жаром воздух. Поморгав, он извлек из жилетного кармана ладный и гладкий оладышек серебряных часов, отщелкнул большим пальцем правой руки крышку — музыкальный механизм хронометра, приобретенного в Марбурге, тонким серебряным голоском пропел короткую пасторальную мелодию. Сощурившись, Иван Ильич поднес циферблат близко к еще не вполне оправившимся после солнечного ожога глазам.

Было уже четыре часа пополудни, однако никакого видимого облегчения вторая половина дня не судила. Теплый воздух казался густым и текучим, как кисель, вот разве что справа по ходу, там, где волнами катили у горизонта пологие холмы в курчавой бледной зелени истомленных засухой низкорослых лесов, небо темнело, наливалось пенной синью низких пухлых облаков, возможно, предвещавших вожделенный ливень. Хотя, конечно, вряд ли... Давеча вечером, в уездном городке, пыльном и невыносимо захолустном, из которого Иван Ильич выехал нынче утром, он имел приятную беседу с градоначальником, статным господином лет пятидесяти, пышные усы которого, соединявшиеся с зачесанными вперед бакенбардами, и бритый подбородок сообщали ему сходство с императором Александром Вторым. Так вот он поведал Ивану Ильичу, что ливни в этих убогих, скудных и пыльных краях случаются крайне редко. Иван Ильич в ответ не нашел ничего лучшего, как посочувствовать: ах, какая незадача, да отчего ж так у вас устроен климат?

Надо внести ясность: к двадцати трем своим годам Иван Ильич простой обыденной жизни абсолютно не знал, пять лет провел он в Марбурге, изучая философию и пробуя свои силы в изящной словесности. Воротиться в родные пенаты его заставила скорбная необходимость. Отец, еще крепкий квадратным телом человек пятидесяти двух лет от роду, коренастый и упругий, как гриб-боровик, в молодые годы блестящий офицер, а впоследствии — рачительный помещик, поражен был внезапным ударом среди бела дня, когда объезжал на легкой коляске в компании своего любимого пойнтера Альмы обширные поля, и умер в три дня. Так что родителя нашел Иван Ильич уж на столе как дань, готовую земле.

Как это частенько бывает с людьми, долго жившими в городе, Иван Ильич, оказавшись в деревне, с вдохновением принялся было хозяйствовать, находя неизъяснимую прелесть уже в самом звучании этих диковинных слов — «рига», «овин», «гумно», «скирда» и так далее — однако вдохновения хватило от силы на неделю... Оно и, слава Богу, ибо устройство русской сельской жизни на знакомый младшему Преображенскому немецкий лад ничего хорошего хозяйству крепкого имения в Тамбовской губернии не сулило. Перепоручив эти заботы управляющему, шустрому малому лет тридцати с глянцевой, гладко зализанной головой, рассеченной посредине светлым шрамом прямого пробора — отец его приветил в свое время по той простой причине, что управляющий воровал ровно столько, чтоб не нанести ощутимого ущерба делам — Иван Ильич с наслаждением отдался творческим трудам. Вставая засветло, он до полудня марал бумагу в своем тесном кабинете, угнездившемся в мезонине большого и крепкого еще помещичьего дома, с нелепо украшенным колоннадой фасадом. Затем он пускался в долгую прогулку по окрестностям, бродил, помахивая лакированной тростью, по краю полей или светлым, прозрачным опушкам леса, пытаясь нащупать в унылом русском пейзаже форму какой-либо изящной метафоры.

Однако вскорости он загрустил и ничего лучшего не выдумал, как пуститься в путешествие по югу России в поисках свежих впечатлений.

Никакого мало-мальски ясного маршрута Иван Ильич в уме не держал, а просто ехал вперед, подрывая в лежащих на пути городках возниц с транспортом.

Впрочем, столкнуться на предмет очередного путешествия от поселения к поселению не всегда удавалось сходу. Причиной тому была, скорее всего, нездешняя наружность Ивана Ильича, который со своими темными, ниспадающими на плечи волнистыми волосами, молочной бледностью узкого красивого лица, в этой своей широкополой шляпе из мягкого черного фетра, просторной накидке богемного вида, английского фасона сужающихся книзу панталонах и лаковых штиблетах напоминал скорее не странника, готового в долгую и трудную российскую дорогу, а театрального Ленского — в том облике, в котором он предстает перед просвещенной публикой на оперных подмостках.

Понятное дело, поглядывали на него на базарных площадях, наводненных сермяжным простонародьем, куда съезжались возницы, с подозрением.

Так было и на этот раз. Лишь спустя пару часов по выходе из затрапезной, обшарпанной гостиницы ему не без труда удалось склонить в совместному путешествию одного из владельцев разболтанной брички с откидным верхом, угрюмого, болезненного щуплого человека неопределенного возраста, в желтоватом скуластом лице, узким разрезе черных плутоватых раскосых глаз которого — правый был обезображен пухлым, студенисто колышущимся бельмом — смутно угадывался татарский корень. Да и то потому видно, что посудил ему Иван Ильич за труды более чем внушительный гонорар. Хозяин брички, угрюмо поторговавшись для порядка, ощупал корявыми пальцами клин жидкой смоляной бородачки, да и нехотя согласился.

Убаюканный мерным покачиванием брички да ритмичными посвистами запыленных осей, Иван Ильич вздремнул, а когда встряхнулся и выглянул из-под накрывавшего повозку верха, то увидел, что далекая темная опухоль неба близко подвинулась к дороге, подгоняемая сухим жарким ветром, вздымавшим клубы белой пыли, в которых волоклись поперек грунтового тракта какие-то сорванные с корня растения, напоминавшие крошечными перепутанными мотками тонкой проволоки. Привстав с сидения, он повертел головой и заметил по левую руку далекие очертания какого-то поселения.

— А что за городишко там маячит? — спросил он возницу, махнув в ту сторону своей шляпой с широкими полями.

Тот повернул голову и, шевельнув бельмом, равнодушным тоном отозвался:

— Так известно что, барин. Тамань, значит.

Иван Ильич потерял дыхание.

— Господи, Тамань!

И надо же — ведь перечитана была маленькая лермонтовская повесть не далее, как прошлой ночью в душном и грязном номере гостиницы, при скудном свете густо чадающей керосиновой лампы с закопченным колпаком, под монотонный аккомпанемент сверчкового голоса, доносящегося неизвестно откуда, из-за выбеленного печного бока что ли, да под далекое постукивание деревянной колотушки, с которой неспешно шествовал по кривым улочкам городка какой-то бессонный старик, отставной солдат, прежде чем улечься на лавку да и уснуть под чистым небом.

И удивительно свежи были в памяти перипетии опасных походов героя: встреча с восхитительной ундиной, сообщницей честного и благородного контрабандиста Янко... Опасная прогулка с ней по бурному ночному морю... Мельканье ее русской головки над пенной волной...

Он тут же приказал вознице сворачивать налево.

Тамань, рекомендованная в свое время Печориным как самый скверный городишко из всех приморских городов России, таковой, собственно, и осталась, однако Иван Ильич ника-

кой такой скверны в облике городка не замечал, скорее напротив. Потому, должно быть, что на развилке пыльных дорог, верстах в двух от таманских околиц, поражен он был нечаянной встречей, воистину мистической — настолько сказочно укладывалась она в ткань повести, что оставалось лишь диву даваться.

Приметив на развилке какой-то смутно очерченный в первых сумерках силуэт, приказал он остановиться, выбрался из повозки, подошел к сидящему в пыльной траве нищему — ветхие лохмотья, болтавшиеся на щуплом теле, как на пугале, да черное, задубевшее от солнца и ветров худое лицо сомнений в статусе человека не оставляли — и бросил медный пятак в грязный обтрепанный картуз, лежавший перед попрошайкой, сидевшем у дороги со скрещенными на турецкий манер босыми ногами.

Тот поднял лицо, в котором под слоем пыли смутно проглядывал возраст — это был юноша лет десяти — но вовсе не сострадание к бедственному его положению заставило Ивана Ильича приглушенно вскрикнуть — О, Господи! — а то обстоятельство, что из-под припухших красноватых век выкатились совершенно белые и пустые глаза без зениц...

Иван Ильич, словно громом пораженный, с минуту стоял перед нищим, затем погрузил руку в карман, выудил из него серебряный рубль и пустил его вдогонку пятаку.

Возница, наблюдавший за этой сценой, что-то явно неодобрительное пробурчал себе под нос и сокрушенно покачал головой.

— Да как же ты, брат, не понимаешь-то! — всплеснул руками Иван Ильич. — Ведь этот юноша — слеп!

Возница с видом древнего восточного философа перетер в пальцах низ своей жидкой бороденки, а Иван Ильич, забираясь на свое место в бричку, скорбно повздыхал, досадуя про себя на темноту простого народа, не ведающего, что начало бурным печоринским приключением в этом самом месте положила именно встреча со слепым белоглазым отроком.

Встав на постой в единственной на весь городишко гостинице — настолько же затрапезной, как и та, которую он нынче утром покинул — Иван Ильич отправился на экскурсию, до самых сумерек бродил по кособоким пыльным улочкам, и находил облик этого сонного захолустья восхитительно романтическим. Погруженный в свои пиитические фантазии, он был не способен и слова вымолвить в простоте, и потому грязь кривого переулка, по которому он шел, обретала в его воображении образ «пыли столетий»... Ну и так далее.

Вот так, словно в шорах, след в след за Печориным ступая, невзначай достиг он берега. И испытал короткое потрясение от вдруг нахлынувшей догадки: уж не тот ли это берег? И будто бы даже виделся ему дальний берег Крыма, заканчивавшегося утесом, на котором белела свечкою маячная башня, и мерещилось в тумане, поднимавшемся над морем, мерцание каких-то корабельных огней.

Глядя на них, Иван Ильич решил, что завтра же поутру наведается он в крепость Фанаторию — если, конечно, таковая с прежних времен сохранилась — и разузнает у коменданта, нет ли какой оказии, чтоб на ближайшем же отходящем от пристани корабле перебраться ему в Геленджик.

Смеркалось. Вожденной прохлады вечер не принес. Тяжелые облака, надвинувшиеся на городок в момент въезда в него Ивана Ильича, долгожданным ливнем так и не разродились, отошли к северу. Было тихо и душно. Небо выгибалось черной полусферой, в которой тускло мерцали бледные звезды — одна из них сорвалась, покатила в горизонт, чертя за собой короткий яркий след: чиркнула и потухла. Однако Иван Ильич желание загадать успел.

То было желание нечаянной встречи.

По обрывистой тропке, рискуя сверзиться вниз, он спустился он к темной воде, двинулся вдоль берега, на который накатывал тяжко, с глухим уханьем, ворочавшийся прибой, влажная пыль которого так приятно холодила лицо, — шел себе и шел, по обыкновению не имея ясного представления о цели и направлении позднего променада. То и дело останавливаясь, он

вглядывался в темную даль приходившего в волнение моря и напрягал слух, чтобы уловить за глухими вздохами волн слабый плеск весел — а ну как и теперь сыщется какой-то отважный пловец, рискнувший пуститься через пролив длиной в добрых двадцать верст — что верст до другого берега должно быть именно двадцать, он помнил твердо.

Однако ничего похожего слышно не было. Прогулявшись вдоль берега еще немного, он думал было пуститься в обратный путь, однако, обогнув у самой кромки пенящейся воды обрывистую горку, темным клином врезающуюся в берег, он остолбенел.

Из воды выходила нагая женщина.

Испытав нечто похожее на пережитый в степи солнечный ожог — настолько ослепительно полыхнуло матово белое тело, облитое голубоватым светом полной луны на фоне темной беспокойной воды — Иван Ильич зажмурился, а когда открыл глаза, то тут же, устыдившись невольного своего соглядатайства, был вынужден отвести взгляд, двинул его выше по откосу, по которому круто взбиралась наверх узкая, захлестнутая низким колючим кустарником тропка.

И снова у него перехватило дыхание.

Над обрывом, за сложенной из булыжников низкой оградой, светлели белые стены убогой глинобитной хаты под камышовой крышей, и море все так же, как в старые добрые времена, беспокойно шевелилось под кручей... Сердце гулко забилося в груди Ивана Ильича и стремительно выкатывалось к горлу: неужто все здесь осталось по-прежнему? Да, похоже на то.

подавив искушение немедленно же ринуться по тропе наверх, чтобы воочию увидеть то, что так ясно видело вчера, за строками текста, воображение — глиняный пол хаты, две лавки, стол, огромный сундук возле печи, разбитое стекло, за которым посвистывал морской ветер да вот еще намек на дурной знак в виде отсутствия в углу образа в почерневшем окладе — Иван Ильич сделал долгий выдох, приходя в себя.

Он плотнее натянул шляпу, поднял ворот накидки, нахохлился — как будто эти маскировочные жесты могли помочь ему остаться незамеченным, и замер, растворяясь в сумраке утеса, стараясь не дышать и приказав себе не перетаптываться на месте, дабы поскрипывавшая под подошвами его штиблет галька не выдала места его засады.

Нагая женщина обернулась в сторону темного утеса — заметила? Нет, похоже, она не видела соглядатая.

К слову сказать, о женщинах Иван Ильич знал несколько больше, нежели можно было предположить по его поэтической наружности, говорившей о романтическом строе души, — в Марбурге он имел мимолетную, но мучительно натужную связь с хозяйской пансиона, где стоял на жительство, рослой, дородной, широкой в кости немкой по имени Ханнелоре Кнопф, которая была чуть ли не вдвое Ивана Ильича старше. Фройляйн Кнопф — впрочем, нет, фрау, поскольку она была, кажется, вдовой какого-то безвременно почившего чиновника, служившего по почтовому ведомству, — Ивану Ильичу благоволила с первого дня, позволяла курить в комнате папиросы, за ужином старалась подкладывать в его тарелку самые аппетитные куски вареной телятины, и даже разрешала принимать у себя в комнате гостей, что категорически возбранялось все прочим пансионерам. С маленькой студенческой пирушки, происходившей в апартаментах Ивана Ильича, все и началось.

Совсем почти не приученный к вину, Иван Ильич в компании своих однокашников, лакавших мозельское как воду, изрядно захмелел, и, решив после ухода гостей выкурить на сон грядущий папиросу, отошел к окну, отдался созерцанию открывавшегося за окном романтического пейзажа, потому толком не слышал, что кто-то вошел, а лишь догадался о приходе гостя по тому, как сквозняк от окна воланом надул занавеску.

Обернувшись, Иван Ильич ожидал увидеть одного из приятелей, вернувшегося за забытым на столе красивым серебряным портсигаром с рыжим зажигательным жгутом, и немного удивился, обнаружив фрау Ханнелору, стоящую на пороге с квадратной бутылкой чуть мутноватой жидкости в большой крепкой руке и парой маленьких серебряных рюмок в другой. Наморщив нос — в комнате было сильно накурено, а на столе царил живописный кавардак — она приподняла бутылку: не желает ли *jünger Herr* отведать настоящего немецкого шнапса, который ей присылает двоюродная сестра из деревни?

Иван Ильич, положив руку на сердце, не желал, однако, не рискуя обострять с радушной хозяйкой пансиона отношения — гости оставили после себя и в самом деле изрядный разгром — согласился.

Ничего крепче глотка сладковатого мозельского вина Иван Ильич доселе в рот не брал, потому, последовав примеру хозяйки, вместе с плавным движением закидывающейся назад головы опрокинувшей рюмку, тут же и горько пожалел о своем опрометчивом согласии составить фрау Ханнелоре компанию: крепко и терпко пахнувшая чем-то фруктовым, с примесью травяного аромата, зелье жарко обожгло глотку, сбив дыхание и оросив глаза густой слезной влагой. Отдышавшись, наконец, она как сквозь слой речной воды следил за тем, как хозяйка снова наполняет рюмки, пьет, понуждая его жестом присоединиться, а потом, промокнув пухлые губы кружевным передником, поднимается со стула, подходит к нему и, плотоядно облизываясь, протягивает руку.

Комната накренилась и обстановка ее поплыла слева направо — крепкий шнапс быстро ударил в голову, перед глазами возникла плывущая муть. Иван Ильич раскинул руки в стороны, стараясь удержать равновесие, и издал какой-то булькающий горловой звук — недоуменный и в то же время слабо протестующий — в ответ на то, что рука Ханнелоры крепко ухватила его за мошонку.

Хватка у гренадерски сбитой хозяйки пансиона была под стать сложению. Она с деловым видом поиграла короткими толстыми пальцами, затем проворно расстегнула панталоны Ивана Ильича — они мягко съехали к полу, туда же последовали и кальсоны...

Иван Ильич просто онемел, ощущая крепкую хватку ее пальцев так, куда женской руке, по его разумению, путь был заказан. Пальцы сжались в кулак, Иван Ильич издал слабый стон.

Пока все это происходило, Иван Ильич стоял ни жив, ни мертв, пораженный не столько смыслом стремительно развивавшихся событий, сколько, наверное, тем, что все это случилось в полном и сосредоточенном каком-то молчании, слабо разбавленном шумными посапыванием фрау Ханнелоры, присевшей на корточки и сквозь мелкое моргание белесых ресниц рассматривавшей низ его живота с таким деловым видом, будто она в мясном ряду на рыночной площади приценивалась в куску свежей розовой говядины.

«*So ein Riesenschwanz!*» — выдохнула она настолько жарко, что тепло ее дыхания он ощутил самой своей обнаженной плотью, и, не будучи глубоко сведущим в многозначии немецких слов, как-то вяло изумился, не понимая, что за «гигантский хвост» она имеет ввиду. «*Das heisst der Schwanz, mein lieber Junge!*» — видя его замешательство, пояснила она, и до Ивана Ильича начало доходить, что помимо значения «хвост» это хлесткое короткое словцо обозначает, как видно, еще и нечто другое — то как раз, что она крепко сжимала в своем кулаке.

Облизнувшись, она выпрямилась и, не ослабляя плотной хватки своих цепких пальцев, повлекла Ивана Ильича к стоящей в неглубокой нише по правой стене массивной, на крепкой дубовой раме, кровати. Опрокинув его навзничь, хозяйка, задрала свою юбку, оседлала его колени, быстро расстегнула белую блузку с круглым вырезом, по краю которого вился орнамент красно-зеленой вышивки, затем распустила шнурок лифа и ее большие и мягкие, груди тяжело вывалились наружу, покачнувшись и застыли.

Что засим воспоследовало, Иван Ильич уж твердо не помнил, а очнулся в тот момент, когда ощутил, что уперся во что-то влажно теплое, мягкое и податливое. С трудом приподняв-

пшись на локтях, он увидел ее большое широкое розовое тело, крепкий торс, пышные овалы груди, мягкий, с парой складок, живот, внизу которого курчавился пышный куст рыжеватой поросли... Хозяйка с шумным выдохом начала сгибать ноги в коленях.

Ивану Ильичу спяну померещилось, будто он лишился чувств — точнее сказать, все его чувства, разум, невеликий житейский опыт, знания, привычная гамма ощущений — все это странным образом перетекло туда, в напряженную каменную плоть, которую так приятно окутывала жаркая влага ее чрева.

В ту минуту он мыслил и чувствовал тем острием своего существа, что все глубже погружалось в женщину, и с легкостью расставался с остатками трезвого сознания, которое и вовсе потухло, когда фрау Ханнелора Кнопф начала мерно раскачиваться вверх-вниз. Сколько это безумие продолжалось, он не знал: время как будто остановилось, а его течение Иван Ильич различал лишь благодаря мерными приливом и отливам теплой волны, которая разливалась по телу.

Наконец какая-то неведомая сила заставила его напрячься, выгнуться дугой и испытать внутри себя нечто наподобие мощного взрыва, бурная энергия которого волной хлынула вовне... Хозяйка, издав в этот момент протяжный и по-детски жалобный какой-то крик, рухнула на него, а тело ее не сотрясла мощная судорога.

Очнувшись он с рассветом и нашел себя лежащим отчего-то крайне неловко, головой к той изножке кровати. Приподнявшись, он с трудом разлепил налившиеся тяжестью веки, испытала нечто вроде наката липкой какой-то дурноты и тут же зажмурился.

Однако в памяти осела во всех подробностях эта картина: хозяйка лежала на спине, свалив голову к плечу, и слабо похрапывала; ее сильные толстолягие ноги были бесстыдно, широким циркулем, развалены на стороны... С минуту Иван Ильич тупо смотрел на бесстыдный развал ее ног, а потом до него начал доходить весь ужас вчерашнего происшествия.

Тем же вечером он, стараясь не встречаться с хозяйкой взглядом, съехал, устроился на новом месте, в уютной квартире на окраине города, на Гессенской улице, вдоль которой, как гренадеры в парадном строю, выстраивались старые каштаны. С крохотного деревянного балкона открывался пасторальный вид на реку Лан, а за полями виднелась деревушка Окерсхаузен.

Здесь было по-деревенски тихо и покойно. Все произошедшее с ним в пансионе фрау Кнопф Иван Ильич усилием воли заставлял себя относить на счет того мутного наваждения, образы которого порой проявляются в кошмарных сновидениях. И понемногу, в ученых трудах, в трезвости, избегая бесшабашных студенческих пирушек, хоронясь в рыжеватом свете старых библиотек, отрешился от этого мучительного воспоминания — вот разве что оно продолжало ему предательски являться в снах с той степенью подробности и отчетливости, которая заставляла его в поту пробуждаться среди ночи, тяжело дышать и ощущать животом тяжесть невесты как и почему окаменевшего плоти.

Нечто похожее слышал он в себе и теперь — не во сне, но наяву — при взгляде на матово белое тело женщины, однако здесь и сейчас все было конечно же иначе.

— Ундина?... — едва слышно прошептал он.

Воистину — что-то русалочье было в ее облике, в этих русых волосах, струящихся по узким девичьим плечам и так трогательно приподнимавшихся на холмиках крепких груди, в этом ее тонком и гибком стане, стройной талии, плавная линия которой продлилась в крутой покатости бедер — чуть разведя в стороны согнутые в локтях руки, она слабо покачивалась из стороны в сторону, словно с трудом балансируя на раздвоенной ласте своего русалочьего хвоста — Иван Ильич с трудом осадил себя, удерживая от инстинктивного порыва кинуться к большому камню, возле которого она стояла, и подхватить русалку на руки.

Явление ундины казалось столь неожиданно волшебным, что он не нашелся, что предпринять — лоб его оросился испариной, а сердце гулко колотилось в горле. А русалка тем временем, приподнявшись на цыпочки, воздела руки к звездному крошеву, рассыпанному в черном небе, закинула голову и так застыла надолго, окаченная желтоватым лунным светом.

Иван Ильич, пораженный приступом столбняка, все смотрел и смотрел. На ее русые волосы, струящиеся по узким плечам. На груди, орошенные морской влагой. На плоский живот, наливавшийся внизу треугольником мягкого сумрака, в котором приглушенно посверкивали запутавшиеся в волосах капли.

Наконец, сладко потянувшись, она завела ладони под груди, приподняла их, точно взвешивая, наклонилась подобрать с валуна длинное светлое полотнище, напоминавшее малороссийский домотканый рушник.

Развернувшись к поэту спиной, она поставила маленькую ножку на камень и принялась энергично утирать влагу с тонкой щиколотки. Иван Ильич не в силах был пошевелиться от вдруг открывшегося его глазам округлого зада, чьи крутые полушария сходились, так волнующе затеняясь в момент соприкосновения. Она вдруг обернулась.

— Ну что ж вы, сударь, — тихо промолвила она, не меняя позы. — Грешно за девушкой подглядывать. Полно вам хорониться. Я ведь сразу знала, что вы тут.

Удушливо жаркий румянец полыхнул в лице Ивана Ильича — род этого стыдливого удущья был ему смутно знаком — откуда? — ну да, конечно же, из давних дней детства; все прежнее вдруг ожило, накатило жаркой волной, он видел себя мальчиком, крадущимся по берегу реки и хоронящимся в прибрежном лозняке, откуда была как на ладони видная тихая заводь, — туда посреди жаркого летнего дня сбегались занятые на полевых работах крестьянские девушки; они с криками, нелепо размахивая руками, сбегали по косогору, на ходу стаскивая через головы свои долгополые рубахи, заходили в воду по колено, наклонялись, черпали искрящееся в воде солнце пригоршнями и кидали его себе под мышки а потом уж кидались в воду... И, помнится, одна из них, глазастая девка с рябым широким лицом, заметила его в засаде, звучно расхохоталась, погрозив в сторону лозняка пальцем, вышла из воды, бесстыдно открывая все свое широкое белое, с темным клинышком внизу живота, тело и опять погрозила пальцем... Но в ту пору он был совсем еще мальчик, всего год назад примеривший гимназический картуз и прибывший в имение отца на лето, а теперь... Господи, как неловко.

Русалка, словно на расстоянии уловив его крайнее смущение, вдруг звонко, сахарно, рассмеялась и, перекинув рушник через плечо, двинулась к нему. Иван же Ильич, по-прежнему испытывая ощущение жгучего стыда, все стоял, как столб, и смотрел, как мягко покачиваются на ходу ее широкие бедра и колыхнутся груди.

— Ундина... — только и смог выдохнуть он, когда она приблизилась к нему вплотную, и он ощутил солоноватый запах ее свежего после купания тела. Отступив на шаг, она склонила голову к плечу, оглядывая Ивана Ильича с ног до головы, хитровато прищурилась и тоном цыганки, приглашающей к тайнствам гадания по руке, произнесла:

— Позолоти ручку...

Машинально сунув руку в карман накидки, Иван Ильич извлек из него серебряный рубль и опустил его в ее влажную ладонь. Сомкнув пальцы в кулак, она покачнула рукой, словно взвешивая монету, прикрыла глаза, улыбнулась и опять подалась к Ивану Ильичу. Мягкое давление ее тугих грудей совсем, кажется, лишило его способности что-либо соображать. Ундина дурашливо хмыкнула, тряхнула головой и, поймав рукой его ладонь, приподняла ее и опустила на свои груди. Его попытка руку отдернуть, окончилась ничем — ее пальцы, крепко сдав запястье, удержали ладонь на месте, а Иван Ильич ощутил, как из руки, осязавшей упругий рельеф ее восхитительно нежной плоти, по телу быстро устремляется волна мелкой дрожи. Его бросила в жар. Зачем-то он снял с головы свою шляпу — как будто в знак приветствия — бросил ее на камень и чуть поклонился.

Она опять негромко рассмеялась, и, опустившись перед ним на колени, быстро расстегнула его брюки. Что-то в ласковых движениях ее пальцев было такое, что возбуждало его противиться. И потому он с готовностью отдавался ее легким, словно набегавший с моря теплый ветерок, ласкам. Он просто наслаждался: тихом плеском ленивой чавкавшей волны, накатывавшей на берег, зыбкостью мелко трепещущей лунной дорожки, солоноватым дыханием моря, мягкостью ее губ, блуждавших по низу его живота.

Она подалась назад, плавно опустилась на землю, увлекая его за собой, легла на спину. Не в силах противиться желанию, Иван Ильич резко качнулся вперед, и ему показалось, что он весь вдруг ухнул в какую-то теплую и влажную бездну. Ясное сознание уже покинуло его. В ушах его возник неясный гул. То ли это ворочался за его спиной ленивый прибой, то ли начинала нарастать, мощно раскачиваясь, какая-то жаркая волна внутри его. И вот она уже сокрушительно рванулась наружу, а за первым шквальным ударом последовал второй, третий, а с четвертым он и вовсе перестал ощущать себя, погрузившись в сладкую истому.

Очнувшись он оттого, что в бедро уперся острый камень.

Иван Ильич приподнял тяжелые веки. Он лежал на боку. Ундина лежала рядом. Иван Ильич, преисполнившись нежности, погладил ее обмякшие груди и тихо спросил:

— Ну, разбойница, где ж твой сподельник по контрабандному промыслу Янко? Уже ведет свой мятежный челн к нашему берегу?

— Янко? — вздрогнула она, непривычно нагрузив ударением последний слог разбойного имени. — Так вы его знаете, сударь?

— Сыщется ли в наших пределах культурный человек, не читавший про него? — изумился Иван Ильич, дотянулся до своего дорожного сюртука, вынул из кармана томик Лермонтова со своим экслибрисом. — Держи, ундина. Этой мой тебе подарок... И что ж мы с тобой теперь? — он кивнул в сторону ялика, приткнутого к берегу неподалеку. — Пора нам плыть...

— Затежник же вы, сударь! — усмехнулась она, поднимаясь. — Ну да воля ваша.

Спустя минуту она уже сидела за веслами, гребя в море. Вскочила она в ялик совершенно нагой, сидела, широко расставив ноги, упертые ступнями в выступающие ребра днища. А Иван Ильич, сидя на кормовой лавке, опять глаз не мог оторвать от широкого распах ее ног. Она усмехнулась, бросила весла, перебралась на нос лодки, встала коленями на узкую лавку, уперлась руками в борта, и глянув на него через плечо, хохотнула:

— Уж вы и затейник!

Он метнулся к ней, едва не опрокинув лодку, опустил руки на ее бедра. На этот раз не торопил ту волну, что выплеснулась из него там, на берегу, плавно накатывал на девушку. Она стонала и билась под ним, ее голос сливался с шумом моря, и сколько продолжалось это из колыбание среди волн, поэт не знал.

Однако в критический момент в памяти его вдруг всплыли знакомые строки: «Минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно бросил ее в волны».

Все так и было... С той лишь разницей, что когда она опрокинулась за борт, Иван Ильич все еще стоял на коленях, с оторопью взирая на то, как волна хлещет из него на дно лодки.

Иван Ильич о судьбе ундины не тревожился: ему, как и множеству прочих культурных людей, твердо было известно — она, несомненно, выплывет.

Потому он направил лодку к берегу, взобрался по обрыву наверх, толкнул дверь в хату, вошел огляделся. С прежних времен тут изменилось разве то, что, помимо двух лавок, стола и сундука, имелась стоявшая в углу под не существующим образом кровать с крепкими деревянными спинками, аккуратно застеленная полотняными простынями. И все так же скалилось маленькое окно с разбитым стеклом... Иван Ильич разделся, лег, с наслаждением вытянулся на грубоватых простынях, закрыл глаза, а слабая улыбка еще долго не сходила с его умиротворенного лица, как будто отзываясь на образы какого-то сновидения.

Пробудил его внезапный толчок смутного беспокойства — то ли прокрался в его сладкий сон какой-то посторонний грубый звук, то ли потревожил его посторонний в этих простых глинобитных стенах запах. Да, похоже, это был именно запах — чем-то казенным пахнуло. Иван Ильич открыл глаза, сел на кровати, повертел головой, потягивая носом. Запах исходил от низкорослого господина с большой головой, остатки скудной растительности на которой, напоминавшие цветом и качеством прошлогоднюю траву, были тщательно зачесаны от левого уха к правому. В его круглом мясистом лице выделялись маленькие пороссячи глаза и увесистый нос, отдаленно напоминавший корабельный якорь. Господин вертел головой с таким видом, будто ему давил на короткую шею крахмальный ворот сорочки, подвигал плечами, осяживая по коренастой фигуре партикулярного фасона сюртук мышинового оттенка, с подпиравшим затылок стоячим воротом, и приветливо улыбнулся.

— С пробуждением! Вы, милостивый государь, видно, заплутали тут впотьмах. Ничего, отдохайте на здоровье.

Иван Ильич свесил ноги к полу, прикрыл глаза и давешнее романтическое приключение во всех подробностях вдруг встало перед его мысленным взором.

— Да, кстати... — продолжал господин. — Не встречалась ли вам тут некая дамочка с русыми волосами?

Иван Ильич, все еще пребывая во власти своих романтических грез, улыбнулся.

— Прекрасная ундина?

Мелкий рассыпчатый смех, в котором слишком явно звучал мотив сарказма, заставил его резко распахнуть глаза и уставиться на господина в мышинном сюртуке. Тот все посмеивался, щуря пороссячи глаза и похлопывая себя ладонью по брюшку.

— Ну, вы, милостивый государь, и скажете! — выдавив костяшкой согнутого пальца слезинку из глаза, господин помотал головой и хохотнул напоследок. — Ундина! Потеха, ей Богу!

— Боюсь, сударь, я вас не понимаю! — нахохлился Иван Ильич, принимая воинственную позу. — Извольте объясниться.

Словно не замечая реакции Ивана Ильича, готового вспылить, господин слабо посмеивался и мелко кивал, прикрыв глаза, затем склонил голову на бок, ласковым елейным тоном осведомился:

— Ундина? Хм...

Иван Ильич, выпрямив спину и сложив руки на груди, хранил молчание, в упор глядя на собеседника.

— М-да, ундина, — почмокав полными влажными губами, изрек тот. — Ой, скажете вы, право слово!.. Да уличная она. Девка. Рублевая. Сонька ее звать. Рубль за любовь берет и рубль на булавки. У меня давеча вечером с ней встреча в этой халупке была назначена... — он обвел взглядом бедную обстановку хижины. — Да вот на службе пришлось задержаться.

— На какой такой службе? — едва шевеля вдруг онемевшими губами, произнес Иван Ильич, испытав вдруг наплыв какого-то мучительного головокружения.

— Так известно на какой, на государевой... — с улыбкой пояснил господин. — Я ведь, сударь, по тайному сыскному департаменту служу, за ссыльными доглядываю, — он приосанился и коротко кивнул. — Ах да, забыл представиться. Янко Игнатий Прокопьевич, к вашим услугам.

Иван Ильич, словно пораженный ударом грома, с минуту сидел, глядя в грязный пол халупы. Затем с трудом поднялся, и, пошатываясь, словно в пьяном бреду, ничего перед собой не видя, вышел вон, побрел куда-то кривой, окрасившейся рассветным розовым цветом, улочкой.

Спустя три недели он сидел в зале ресторана «Салочки» на Дмитровской, в доме Муравьева, где прежде помещался лицей Каткова, а теперь оборотистый деляга Егор Кузнецов держал заведение «Салон де Варьете», широко известное в Москве как «Салочки» — место шумное и даже буйное, где ночь напролет дым стоял коромыслом, где бурно кутящее купечество в один вечер пропивало тысячи, дебоширило и купало в отдельных кабинетах девиц полу света в ваннах с шампанским... Разгул, впрочем, начинал зреть здесь после восьми вечера, публики пока — в седьмом часу — было немного. Иван Ильи сделал заказ метрдотелю во фраке, под которым искрился диковинный какой-то жилет из золотой парчи.

Перебрав множество вариантов, он остановился на суши, заказав роллы из тунца, затем — спустя некоторое время — потребовал доставить к столу нью-йоркский стейк из мраморной австралийской говядины, приготовленный на гриле, дождался первой половины своего заказа и чинно приступил к трапезе.

Ел он, не спеша, с толком, с расстановкой, как подобает истинному гурману. Потом попросил златопузого метра доставить к столу кофе, и под него выпил ликеру «Бейлис» изрядно. Ликер показался ему несколько более приторным, чем должен был быть, — наверное, местный менеджер по закупкам алкоголя отоваривался в аэропортовых магазинчиках «Дьюти-фри» — однако высказывать свои претензии чопорному метрдотелю Иван Ильич не посчитал нужным: и так сойдет.

Покончив с трапезой, он извлек из кармана сюртука красную пачку сигарет «Соверен», которые блоками закупал на оптовом табачном торжище на площади перед Киевским вокзалом, где частенько случались ментовские облавы, большим пальцем правой руки откинул крышку золоченой зажигалки «Зиппо», прикурил сигарету.

Курил, откинувшись на спинку стула, наблюдая за игрой света в хрустальных люстрах под потолком. Думал.

Наутро тело несчастной Соньки прибило к берегу. На камнях нашли ее одежду, томик с его экслибрисом и широкополую шляпу. В лодке остались следы его семени. Возница опознал его шляпу. Янко опознал его самого.

Завтра призван он к следователю на допрос...

Он вдруг расхохотался — сардонически и столь громко, что все в зале обратили свое внимание к нему.

— Эх, господа, господа... — произнес он, поднимаясь. — До чего ж измельчала российская жизнь! Именем благородного контрабандиста обзавелся грязный филер. Прекрасная ундина оказалась рублевой шлюхой... — он сделал паузу, ощупывая мелко подрагивавшими тонкими пальцами свое красивое бледное лицо и добавил: — А поэт сделался тривиальным душегубом!

С этими словами он вынул из кармана пистолет Макарова, приставил дуло к виску и нажал на курок.

3.

Не убежден, что у посетителей «Солошек» тех времен были в почете американский стейки, приторные напитки типа «Бейлис», сигареты «Соверен», которые надлежало прикуривать от зажигалок «Зиппо», — не говоря уже о том, что добропорядочные граждане, отдыхавшие в этом веселом и буйном кабаке вряд ли имели привычку таскать в карманах пистолеты типа «ПМ»...

У меня давно было подозрение, что у Абросимова не все дома. Нет-нет, внешне на сумасшедшего он походил мало, однако крышу у него начало сносить (вследствие, как видно, творческого перенапряжения), уже некоторое время назад.

К моменту моего появления в доме с мезонином, где уютно расположилась редакция нашего журнальчика, Абросимов был занят, так сказать, переводной прозой, которую сам же и сочинял от имени несуществующих британских, французских, испанских, итальянских,

немецких и американских авторов. Но при этом — подлец! — не давал себе труд выдумывать для этих мифических писарчуков их биографии, потому в роли биографа приходилось выступать мне: горячие истории предварял небольшой, в два-три абзаца врез с представлением автора.

Так вот уже в тех текстах проскальзывали фразы, а то и целые абзацы, которые наталкивали на мысль о легком расстройстве рассудка у автора.

Последним образчиком такого свойства был рассказик из британской жизни, в котором действовала богатая хозяйка дорогого коттеджа в Кэмбридже и нищий трубочист... При первом прочтении я настолько был увлечен деталями их кувырканий в постели, что даже не обратил внимания на то, что в представлении чопорного британского интерьера присутствовало — в пространстве двух внушительных абзацев — скрупулезное описание русской печки, возле которой стояли кисло пованивающие валенки.

Выбив из только что прочитанного файла нагромождения галиматьи в конце текста, я по привычке, выработанной общением с текстами Абросимова, открыл созданный перед прочтением нового творения писака файл с названием «помойка», куда и скинул отходы производства; оттолкнув от себя клавиатуру, я откатился от компьютера на вертячем стульчике и обвел медленным взглядом нашу рабочую комнатку.

Мой стол располагался возле самой двери, поэтому я мог наблюдать за тем, чем заняты коллеги. Фро сидела за своим столом в левом углу около окна и говорила по телефону. Точнее сказать она держала трубку около уха. И чем дольше она слушала, тем шире приоткрывался ее бледный рот — должно быть, на том конце провода ничего хорошего не произносили.

Редактор Таня Ларина — она, в самом деле, удивительно походила на классическую Пушкинскую деву в том виде, в котором она отпечаталась на классических иллюстрациях Елены Самокиш-Судковской к бессмертному роману в стихах — нервно ерзала на стуле, поглядывая на часы.

Дизайнер, а по совместительству еще и бильдредактор по прозвищу Твигги склонялась над установленным по самому центру комнату огромным матовым экраном с подсветкой и рассматривала через лупу очередной широкий обложечный слайд, наверняка представлявший какую-то Гретхен в вызывающей позе... Иллюстрации Твигги добывала в каком-то немецком фотобанке, потому все девчонки, представленные в нашем журнальчике, были исключительно германских кровей: дородные, с широкими крепкими бедрами, массивными буферами и тяжелыми подбородками — все они были как на подбор истинными арийками. Что, впрочем, не мешало нам обзывать их в подписях и коротеньких сопроводительных текстах Лизами, Машами, Наташами, Нюрами и прочими ласкающими наш слух именами.

Интересно, какую часть живописного тела германской девушки исследовала в этот момент Твигги, подумал я, глядя на ее внушительных размеров зад.

Временами мне казалось, что в наш скромный домик с мезонином ненароком заглянула Девушка с веслом, причем в ту самую натуральную величину, которая была характерна для гипсовых статуй в старых советских парках. Роста в нашем дизайнере было около 190 см, при этом она была плотно сбита, а если и имела избыточный вес, то весь он без остатка умещался в более чем внушительном объеме ее невероятно пышного бюста. Кто уж из коллег и когда наградил нашего дизайнера именем тонюсенькой манекенщицы, мне неизвестно — на это прозвище Девушка с веслом не обижалась.

Словом, все девушки были при деле. И Алка в том числе. Сосредоточенно пялясь в флэт с раскладкой материалов по полосам, она немо шевелила губами, словно дегустируя на вкус заготовки статей. Ее рабочее место располагалось напротив стола главного редактора в глубине обширной комнаты, в уютной нише, что соответствовало статусу второго человека в редакции, то есть ответственного секретаря. Парням вроде меня, Тани Лариной и Твигги отводилось место ближе к входной двери.

Продегустировав очередной заголовок в «простынке» Алка, провела кончиком языка по бледным губам и обратила взор ко мне.

— Илюшок... Что это за фигня? Вот тут в новостном блоке на шестой полосе? — Алка выдержала театральную паузу и продекламировала: — «В продаже появились диски с записями художественного пердежа». То есть... — Алка поморгала. — Ты хочешь сказать... Что... — она рассекла паузу витиеватым кистевым жестом. — Возможно... Это... Как бы это сказать...

Твигги оторвалась от созерцания внушительных выпуклостей очередной Гретехен на слайде и пришла мне на помощь.

— Алка... — басом прогудела она. — А что тут такого? Ты почитай Бабея. Там у него в «Конармии» был боец, который умел выпёрдывать мелодию «Интернационала».

Я не сдержался и прыснул в кулак — настолько лег мне на душу глагол «выпёрдывать».

Телефонная трубка, которую все это время сжимала в маленькой руке Фро, с грохотом приземлилась на серую телефонную базу, и в комнате возникла напряженная тишина.

— Это п...ц! — после долгой паузы тихо выдохнула Фро.

Изумление мое было столь велико, что я на мгновение потерял дыхание. Мимолетного взгляда на моих коллег было достаточно, чтобы убедиться — они испытывают те же чувства.

Должно быть, случилось в самом деле нечто экстраординарное, если на язык Фро залезло это едкое словцо; крепкие выражения монтировались с этой крохотной, ростом чуть больше полутора метров худенькой интеллигентной женщиной примерно так же, как, скажем, заскорузный австралийский абориген монтируется с белоснежной балетной пачкой... Выходящую за рамки нормы лексику Фро переносила плохо потому, что ее бывший муж был не просто отчаянным, но и воистину виртуозным матершинником.

Фро медленным жестом сняла свои слегка дымчатые, в тонкой металлической оправе очки, положила их на стол и обвела нас типичным для близорукого человека рассеянным, не имевшим четкого направления взглядом — казалось, она смотрит и сквозь нас, и даже сквозь эти толстые, забранные темными деревянными панелями стены. Наконец ее взгляд остановится на стеллаже возле двери, на полках которого стояло несколько пачек свежего тиража.

— И что мы теперь с этим добром будем делать? — спросила Фро, обращаясь в пространство.

— Фро? — тихо пробасила Твигги.

— Почта накрылась.

— То есть, как это накрылась почта? — вздрогнула Алка.

А так, пояснила Фро. В только что завершившемся телефонном разговоре с экспедиционной службой она выяснила, что железные дороги с сегодняшнего дня начали отцеплять от составов почтовые вагоны, поскольку почтовое ведомство задолжало им какую-то баснословную сумму.

Я пожал плечами. Начиная с середины августа у нас успело накрыться, кажется, все, что еще совсем недавно пышно цвело и колосилось под дымным московским небом — банки, заводы, отели, пароходы, разного рода компании и фирмы — так что тихая кончина почты на этом фоне не выглядела чем-то из ряда вон выходящим.

— Ладно! Что-нибудь придумаем, — встряхнулась Фро и, выпрямив спину, обвела взглядом своих вассалов. — Что у нас там по очередному номеру? Первая обложка?

Твигги торжественно прошествовала к своему столу.

Каждое ее движение отзывалось колыханием могучей плоти бюста, скрыть которое не мог даже просторный балахон, фасон которого представлял собой нечто среднее между ночной рубахой, халатом для фиксации буйно помешанных и тех воздушных, в попугайской росписи долгополых сарафанов, в которых когда-то шеголяла моя мама, входившая в веселую и вечно не вполне трезвую компашку московских хиппи.

Твигги выудила из-под груди разворотных распечаток плотный, отливающий скользким глянец лист с цветопробой, и вернулась к матовому просмотровому столу.

Мы сгрудились вокруг него и уставились на очередную Гретхен.

Объектив фотографа застал ее стоящей на коленях в пене брызг от только что откатившейся морской волны. Это была шатенка с на удивление тонкими чертами миловидного и очень далекого от арийского канона лица. Что-то трогательно детское и беспомощное было в том, как она шурилась от бьющего ей прямо в глаза солнечного света и открыто, на типично девчачий манер, улыбалась. Улыбка была схвачена на излете — должно быть вслед за щелчком объектива она от всей души, по-детски расхохоталась. Тонкая белая насквозь мокрая майка липла к ее телу, подчеркивая его выразительные формы — и это был тот случай, когда одежда более приоткрывала, нежели скрывала. Кадр был по-настоящему хорош. Я поделился своим мнением и добавил:

— Особенно пикантно здесь смотрится сгусток манящего сумрака внизу ее живота.

Фро все телом развернулась ко мне.

— Чего-чего?

— Фро... Сдается мне, ты не читаешь проходящие через твои руки тексты. «Сгусток манящего сумрака внизу ее живота» это, в переводе с абросимовского языка на русский, означает женский лобок.

— Грубо, Илюша! Фу! — поморщилась Фро. — Не сбивай меня с толку! — она кивком указала на цветопробу. — А как мы эту деваху назовем?

Дело в том, что обложечную девушку мы представляли в середине журнала, коротко рассказывая, кто она такая, чем в этой жизни занимается и увлекается.

— Катя? — Алка помассировала подушечкой пальца кончик остро отточенного носа. — Нет. Тривиально, да и было уже сто раз. Лиза? Тоже было. Марина? Анжелика?

Возникла долгая пауза. Коллеги, как видно, перетряхивали в памяти список женских имен.

— Аглая!

Общество вопросительно уставилось на меня.

— Нет, в самом деле. По-моему, звучит вполне себе душевно. И свежо. И давайте — чтобы оттенить печаль текущего момента — поселим ее на почту. А что? Аглая. Простая скромная работница почтового отделения. Которая осталась без работы.

— Ну, положим, так, — кивнула Фро. — А круг интересов?

— И почему бы девушке с таким именем не быть завзятой театралкой? — предположил я. — В таком разе мы можем отработать злобу дня... О которой интеллигентная публика только и базарит все последние дни.

— То есть? — подала голос Алка.

— Ну, можно вложить в ее уста примерно такую мысль... «На днях я посетила „Гамлета“ в постановке Петера Штайна. И пришла в полный восторг от свежего и смелого прочтения знаменитым режиссером хрестоматийной классики».

На том и порешили. Фро напоследок поинтересовалась исполнителем роли Гамлета, но ничего путного я сказать на этот счет не смог, за исключением того, что звать этого совершенно не знакомого широкой публике парня вроде бы Евгений Миронов, и будто бы Штайн откопал его в «Табакерке».

Фро кашлянула в крохотный кулачок и глянула на свой стол, на краю которого лежала пачка сигарет и тонкая книжечка в черной обложке. Я понял, что Фро испытывает понятное всякому курильщику томление в ожидании освежающего глотка никотина и коротким движением головы указал в потолок. Фро согласно кивнула.

Мы молча пришли к согласию в том, что нам пора выкурить по сигаретке.

В штатном составе нашего журнальчика было всего два курильщика, потому мы с Фро поднимались в мезонин, открывали одну из створок большого, изваянного в форме арки окна, выраставшего прямо из пола, и протискивались на тесный узкий балкончик, куда могли с трудом поместиться два человека, да и то лишь в том случае если габариты их были весьма скромными... Твигги, например, путь сюда был заказан.

Мы поднялись по узкой лесенке, упругим штопором ввинчивающейся в сумрак зиявшего в потолке проема, на второй этаж нашей избушки.

Проходя мимо втиснутого под правый скос крыши стол, на котором тихо доживал свой трудовой век старенький, триста восемьдесят шестой комп (благо у него был дисковод под пятидюймовые абросимовские дискеты!), Фро притормозила, метнув короткий взгляд на помутневший от времени серый ящик компьютера, на котором лежала книга.

— Хорошо что заметила, — сказала она, возвращая мне книгу. — Еще вчера хотела тебе вернуть. Когда забегала сюда покурить с тобой. Да забыла... Спасибо. Очень симпатичная книжечка.

— Ну и что ты думаешь по этому поводу?

— Брось, Илюша. У тебя слишком пылкое воображение. Впрочем, это как видно следствие твоего юного возраста.

В конце апреля мне исполнился двадцать два года — это да. Этим летом я стал обладателем университетского диплома — это тоже да. С воображением у меня, в общем, полный порядок — это трижды да. Но с неделю назад я всучил Фро роман Лёсы «Тетушка Хулия и писака» вовсе не затем, чтобы она насладились пряным духом этой густой и неторопливо, словно расплавленный вар, текущей прозы, а по той простой причине, что всерьез начал подозревать, что с Абросимовым творится примерно то же самое, что и с одним из героев этого замечательного романа.

И пусть дон Педро Камачо сочинял радиодрамы, а не эротические новеллы, однако крышу у него чем дальше тем больше сносило примерно в том же духе, что и у Абросимова. То есть дон Педро в своих возвышенных драмах начинал кошмарно путать божий дар с яичницей, ни с того ни с сего вдруг вилял от диалога с киевским дядькой в сторону пространных описаний росшей в огороде бузины, взял привычку оживлять уже похороненных в прежних драмах героев и, в конце концов, в результате творческого перенапряжения прописался в психушке.

Примерно то же самое, как мне казалось, происходило и с Абросимовым — только что выправленный мной текст про похождения Ивана Ильича Преображенского был тому красноречивым свидетельством.

Впрочем, знакомить Фро с мусором, скинутым в файл «помойка», я не считал возможным... Уже в момент знакомства с нашей редакцией, в разгар выпивона по случаю проводов редактора Нины Собаневич в декретный отпуск, мне почудилось, что эта парочка — Абросимов и Фро — время от времени просыпаются в одной постели.

Потому я не хотел травмировать чувства Фро прямым текстом. Роман Лёсы был не более чем прозрачным намеком на толстые обстоятельства, однако Фро, судя по всему, намек не поняла. Или просто не захотела его воспринять. Резким взмахом руки она закрыла эту тему, мы открыли окно, протиснулись на балкон, выкурили по сигаретке и спустились вниз.

4.

Распечатав творение Абросимова — Фро предпочитала печатный текст, потому что от монитора у нее побаливали глаза — я хотел было отдать распечатку Фро, однако внимание мое привлекла та самая небольшого формата книжечка, что лежала на углу ее стола рядом с сигаретной пачкой.

— Можно?

Фро, не отвлекаясь от чтения верстки кинула.

На обложке красовалась старинная гравюра — или современная ловкая ее имитацию — изображающая какого-то козла в старорежимном сюртуке, стоявшего в комнате около стола; он внимательно вглядывался в зеркало, зажатое в правой руке, и совершенно не замечал, что в этот момент за ним подглядывает с улицы через оконное стекло какая-то голая по пояс женщина.

Имя автора этого творения мне ни о чем не говорило — в отличие от названия книжицы. Я смутно помнил, что звучное это имя — «Азазель» — кажется, носил какой-то древний злой дух, а может быть и сам сатана.

Заглянув в выходные данные, я узнал, что книжицу тиснуло издательство «Захаров», причем, тиснуло совсем недавно. Вот уж не думал, что этой осенью у нас еще выходят из печати книжки — множество издательств приказали долго жить.

Мне стало интересно, я пробежал глазами первый абзац.

«В понедельник 13 мая 1876 года, в третьем часу пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему теплый, в Александровском саду, на глазах у многочисленных свидетелей, случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие».

— Хочешь почитать? — пробормотала Фро, глядя в верстку. — Возьми. Забавная книжечка.

— Нет.

Читать этот бред, который вполне укладывался в стилистику только что отредактированного мной творения Абросимова, охоты не было, однако смутное подозрение начало закрадываться мне в душу.

— Фро... Можно тебя отвлечь на минутку.

Он подняла голову, отрываясь от чтения, и глянула на меня поверх очков.

— А не с подачи ли автора этой книжечки... — я сверился с обложкой книжечки. — Вы с Абросимовым решили... Как бы это выразиться... Закосить под русскую беллетристику девятнадцатого века?

— Что-что? — прищурилась Фро.

Я положил поверх верстки стопку отпечатанный на принтере листов.

Меня всегда поражала манера Фро читать тексты. Ее взгляд как будто охватывал весь лист целиком, глаза не двигались вслед за течением строки слева направо, оставаясь неподвижными; Фро глотала, переваривала и усваивала текст целыми абзацами, а может быть, и страницами, причем делала это с поразительной скоростью.

В два счета проглотив текст, она собрала листы распечатки в аккуратную стопку и кивнула:

— Толково. Пойдет.

— Фро... — напомнил я. — Ты не ответила на мой вопрос.

— Ну... Да. Я показала этот романчик Абросимову... Мол, давай забаваем что-нибудь в этом духе. Он согласился. А что. Мне нравится.

— А не проще ли было взять да и тиснуть в журнальчике «Баню» Алексея Толстого?

— А авторские права? А наследники? Да они б нас просто раздели бы! — она помолчала. — Ко всему прочему Абросимов обещал написать целый цикл таких история из прошлой жизни. — Фро пролистала распечатку и глянула на меня. — И как мы это назовем?

— Ну как... — пожал я плечами. — «Тамань». Коротко и ясно.

— Знаешь, — усмехнулась Фро, — где-то я это название уже встречала...

— Ну тогда... «Душной ночью в Тамани».

— Сойдет... Илюша, подожди. Пойдем глотнем кофейку.

На маленькой нашей офисной кухоньке Фро попросила меня заехать к Абросимову домой — он вот уже дней десять не дает о себе знать. Я сдуру согласился, прикинув, что успею

обернуться туда-сюда за часик, ну от силы полтора, вернусь и мы сядем выпивать по случаю моей первой зарплаты.

Чем это закончилось, вы знаете.

Глава вторая. Китайская ваза

1.

Сколько времени я провалялся на полу абросимовского кабинета без сознания, сказать трудно. С трудом приподняв налитые свинцовой тяжестью веки, я нашел я себя блуждающим в каком-то нездешнем, дальневосточном, скорее всего, пейзаже: то ли японском, то ли китайском.

Перед глазами плыл акварельно жидкий голубоватый туман, он низко стелился над гладью залива, серпом срезанного в поросший курчавой зеленью холмистый берег. Одинокaя низкорослая сосенка выростала на холке у каменистого утеса, словно встав на охрану царящего в пейзаже беззвучия и полного покоя. Дыхание легкого ветерка, шедшего поверх водной глади, коснулось моего лица, позвало, поманило — я шагнул в этот пейзаж, полагая, что очутился в одной из отдаленных провинций рая, куда отлетел сразу после удара тяжелым предметом по затылку, шагнул и присел на краю каменистого берега, и так я там сидел, наслаждаясь ощущением запредельного покоя, — до тех пор, пока не сообразил, что присутствую в тонко выписанном на боку китайской вазы пейзаже, точнее сказать, в осколке этого пейзажа.

Осколок лежал на полу прямо напротив моего лица, щекой я ощущал прохладу пыльного паркета, выстилавшего пол абросимовского кабинета. Прочие — помельче — осколки валялись тут же.

Стало быть, злодей, источавший полынный запах, в качестве орудия убийства выбрал именно эту вазу, стоявшую, настолько я помню, на одной из полок огромного, во всю стену, стеллажа, закрывавшего всю левую стену погруженного в сумрак кабинета. И скорее всего, он прятался за распахнутой мной дверью — чего уж проще: цапнуть с полки вазу, хорошенько размахнуться да и огреть меня по кумполу.

Я попытался встать. Меня сильно качнуло, однако я устоял. Во рту было жарко и сухо. Я огляделся и заметил пластиковую бутылочку Aqua Minerale, она стояла на узкой столешнице массивного старорежимного бюро слева от входа в кабинет. Жадно вылакав минералку, я осторожно — широко, на манер канатоходца, раскинув руки, чтобы сохранять равновесие, — двинулся на разведку.

Оказавшись на кухне, я перевел дух. Взгляд мой упал на кухонное окно, в котором на уровне человеческого роста темнела аккуратная дырочка. Теперь у меня было время рассмотреть ее внимательнее.

Сомнений не оставалось: столь идеальное отверстие в стекле могла проделать только пуля. Выглянув во двор, я предположил, что стреляли, скорее всего, из окна противоположного дома и инстинктивно отпрянул.

Резко присев на корточки, я переполз на узкий кухонный диванчик, под защиту прочной, надежно сработанной немцами стены — мне померещилось, что там, на втором этаже, на расстоянии не больше метром пятидесяти, по-прежнему сидит снайпер.

Должно быть, оглушка от удара по затылку еще давала о себе знать. В противном случае я бы сообразил, что окно в доме напротив, во-первых, плотно закрыто, а во-вторых, оно почти наглухо зашторено зарослями дикого винограда, карабкавшегося вверх по стене по веревочным вантам от крохотного газона под окнами первого этажа. Так или иначе, я сполз с дивана на пол, на четвереньках выбрался из кухни в коридор и вздохнул с облегчением.

В виске возникло неприятное ощущение — капелька пота стекала к скуле и медленно покатилась по щеке. Неплохо было бы сполоснуть лицо.

В ванной я глянул на себя в мутноватое от времени зеркало, висящее над раковиной. Могло быть и хуже. Взгляд вполне тверд и осмыслен, вот разве что матовая бледность, окатывавшая щеки, да легкие тени в подглазьях говорили о пережитом недавно обмороке. Тщатель-

ное умывание ледяной водой окончательно привело меня в чувства. Растерев лицо не первой свежести полотенцем, висевшим на крючке слева от зеркала, я бросил взгляд под раковину, где в маленькой нише стоял эмалированный таз, куда Абросимов, похоже, бросал нуждавшиеся в стирке вещи — во всяком случае, по краю таза полз черный носок с прохудившейся пяткой. Что-то заставило меня присесть на корточки.

Груды белья венчал скомканный носовой платок бурого оттенка. Ухватив его кончиками пальцев, я поднялся и опустил комок в ложе раковины, чтобы получше рассмотреть в свете встроенной слева от зеркала лампочки, забранной в матового стекла плафон в форме распускающей лепестки лилии.

Это было не платок, как мне показалось, а белая ресторанный салфетка с логотипом в уголке, очень походившим на фирменный значок могущественной табачной империи «Филипп Морис».

Уже на ощупь ткань показалась мне жестковатой, заскорузлой. Теперь стала ясна природа этого тактильного ощущения: салфетка была густо пропитана засохшей кровью.

Не лучше выглядело и извлеченное мной из-под раковины светлое вафельное полотенце, валявшееся поверх груды белья — оно было густо заляпано все теми же бурыми пятнами.

У меня засосало под ложечкой.

Тем не менее, я поборол искушение немедленно унести ноги из нехорошей квартиры и вернулся в кабинет.

Тяжелые, набрякшие от пыли гардины я раздвигать не стал, включил верхний свет, огляделся и присел за узкий столик, на котором стоял компьютер. Маленький монитор уже остыл, но я был уверен в том, что незадолго до моего появления здесь старенький «ХТ» пыхтел, впитывая в себя набиваемые на раздолбанной клавиатуре тексты. Или кто-то просто просматривал их с помощью клавиши F3, зайдя в Norton Commander.

Мой взгляд скользнул по передней панели плоского компьютерного ящичка, на котором стоял монитор — «икст-тишки» в отличие от нормальных современных компьютеров не стояли, а лежали — и что-то в привычном облике этой панели показалось мне необычным. Ну конечно! Рычажок дисковод был опущен вниз.

Я привел его в нормальное горизонтальное положение — дисковод выплюнул тонкую пятидюймовую дискету.

В поисках конверта для нее я выдвинул ящик стола и пошарил в нем.

В ящике царил бардак, это была настоящая помойка, в которой рядом с обрывками блокнотных листков, хранящих номера чьих-то давно оглохших телефонов соседствовали разрошренные облатки от лекарств, а листы пожелтевшей писчей бумаги, испещренные косым торопливым почерком, прикрывали выцветшие от времени старые фотографии; здесь же валялись какие-то старые рецепты, россыпи канцелярских скрепок, пара пустых спичечных коробков, давно испустившие дух наручные часы марки «Полет» с растрескавшимся стеклом и отвалившейся минутной стрелкой, и масса прочего барахла, из под которого выглядывала светлая канцелярская папка, на которой крупными буквами было начертано: «БОЛЬШАЯ ВОДКА».

Развязав боковые тесемки, я заглянул в папку.

Это была рукопись. Причем, написанная от руки плотным мелким почерком — листов триста, не меньше. Сверху лежал паспорт в чудовищно потрепанной зеленой обложке, украшенной тисненым гербом СССР. Это был паспорт нашего писаки...

Странно. Выходить за порог квартиры без паспорта по теперешним временам опасно. Любой постовой мент, обирающий торгующих сигаретами у станций метро бабушек, может тебя в два счета свинтить и отволочь в околотов... Отложив паспорт в сторону, я продолжил изучать содержимое папки. Под титульным листом рукописи покоился броский пригласительный билет с логотипом популярного ночного клуба, который извещал, что обладатель этого куска глянцевого бумаги сможет насладиться экзотическим стрип-шоу под названием «Фла-

минго». Присмотревшись к логотипу, я догадался что он — родной братец того, что бы тиснут в уголке окровавленной ресторанной салфетки; стало быть, писака захаживал в это злачное заведение.

Под папкой с рукописью я нашел удлиненный почтовый конверт. Ровно в таком конверте я вчера получил свою первую зарплату. Откинув клапан, я нашел в конверте деньги. 450 рублей. Не исключено, что это был последний его гонорар.

Я задвинул ящик, встал и только теперь заметил, что из-под сползшей набок стопки писчей бумаги, лежавшей слева от компьютера, выглядывает краешек простенького латунного брелока в форме большой серебряной пивной пробки.

Этот брелок я уже видел в тот день, когда Абросимов в последний раз — дней десять назад — заглядывал в редакцию, чтобы всучить мне дискету с текстом про Ивана Ильича Преображенского. Помнится, они собрались с Фро в мезонин чтобы покурить, и писака в поисках зажигалки вываливал на стол содержимое своих карманов — ключи от дома в том числе.

Да. Это были именно его ключи, а не тот запасной комплект, что хранился в ящичке электрораспределительного щитка справа от входной двери.

Дырка от пули в стекле кухонного окна.

Окровавленные тряпки в ванной.

Теперь вот еще эти ключи от дома, без которых Абросимов вряд ли могу покинуть квартиру, потому что дверной замок не был автоматическим, и дверь нельзя было просто захлопнуть.

Мне стало не по себе. Прихватив ключи, я запер входную дверь, и поспешил выкататься на лестницу.

2.

На первом этаже я сбилсся с шага, проходя мимо крохотной ниши, в которой темнела панель заскоружлых почтовых ящиков, нашарил в кармане колечко с нанизанным на него абросимовскими ключами.

Вставив маленький ключик в разболтанную скважину, до которой дотягивался от темный след подпала (должно быть здешние юные дебилы по ходу распития пива развлекали себя сованием в прорези жестяных дверок зажженных спичек), открыл дверку, потянул ее на себя и едва успел отпрянуть, потому что из плоского тесного почтового гнезда выпорхнула, слабо шурша крыльями, целая стая газет «Московский комсомолец» и присела на пол у моих ног.

Опустившись на корточки, я исследовал даты выпуска.

Последняя газета была датирована сегодняшним числом.

Первую почтальон сунул в почтовый ящик десять дней назад.

Выходит, уже полторы недели в ящик писака не заглядывал.

Возможно, он по какой-то причине изменил своей привычке просматривать по утрам газету, но уж квитанцию на оплату коммунальных услуг достать из ящика он определенно должен был!

Платить по счетам более менее регулярно имело смысл даже в том случае, если бы пришлось перебиваться с хлеба на воду. Рыжий хозяин всероссийского электрического рубильника на днях объявил, что с подачей тепла зимой могут возникнуть большие проблемы — и энергосистемы вдрызг обветшали, и топлива на ТЭЦ хватит разве что до января, потому — ходили в народе упорные слухи — отрубать электричество и соответственно теплоснабжение будут в первую очередь у должников, а зима после нестерпимо знойного лета обещала быть суровой.

Привычка глядеть на ходу себе под ноги вместо того чтобы озиаться по сторонам, сыграла со мной скверную шутку прямо при выходе из парадного — слава богу, в последний момент слух подсказал мне замереть на месте в тот момент, когда я уже собирался сделать шаг

на асфальт пешеходной дорожки, бравшей в серое влажное кольцо уютный дворик: от арки прямо на меня несли малых размеров черный танк марки «Гелендваген».

Первые немецкие вездеходы этого типа появились у нас, совсем недавно и быстро вошли в моду у состоятельной публики, бандитов в первую очередь.

Внедорожник резко затормозил прямо напротив подъезда. Открылась дверка, из машины вывалился более чем внушительных габаритов человек в короткой кожаной, с меховым подбоем, куртке и вопросительно уставился на меня.

Борцовский разворот плеч, руки молотобойца, бычья холка, крупные черты мясистого лица вполне отчетливо намекали на профессиональную принадлежность этого человека.

— Ну? — гулко прогудел гренадер. — Чё?

— Да не чё, — робко отозвался я. — Иду вот. К метро.

— Ну так и иди.

Он повертел головой. Точнее сказать — учитывая мощь его бычьей выи, прямо и без намека на даже легкий изгиб перераставшей в мощный бритый затылок — вертел он не столько головой, сколько всем своим могучим торсом.

Заметив в пяти шагах от переднего бампера своего танка грязно-зеленый «Жигуль» Абросимова с разбитой физиономией, он поморгал, вглядываясь в криво свисавший с переднего бампера номерной знак, коротко кивнул, подошел к «Жигулю» и что есть силы дал ему в морду ногой. Номер отвалился и упал на асфальт.

— Ну и чё? — опять спросил циклоп. — У тебя проблемы?

Я помотал головой.

— Слышь, братан. Квартира пять. Это какой этаж?

— Второй, — машинально отозвался я и не узнал собственный голос.

Именно в пятой квартире на втором этаже обитал Абросимов.

Я поспешил прочь, то и дело оглядываясь. Амбал рывком огромной лапы распахнул дверь и исчез в подъезде. Я со всех ног пустился наутек и разрешил себе перевести дух только возле метро, где обратил внимание на стоящую на углу улицы палатку, в широкой витрине которой, забранной мощными стальными решетками, красовались бытылки всех цветов и оттенков. Слава богу, нужная бутылка попалась мне на глаза — к тем двум бутылкам «Смирновской», что покрывались изморозью в редакционном холодильнике, нужно было добавить что-нибудь легкое, потому что Фро водку не пила.

Я постучал в крохотное оконце ларька, оконце открылось.

— Бабоукладчик по чём? — спросил я.

В последний раз я покупал этот напиток, которому народ уже давно присвоил характерное прозвище, недели две назад, собираясь повидаться с мамой на Никитском бульваре, в старой квартире Саймона, куда стекались на «сейшн» осколки некогда процветавшего в центре Москвы братства хиппи. Однако традиционный для таких посиделок портвейн мне на глаза не попался, поэтому я прихватил приторный «бабоукладчик», который — пусть и с большой натяжкой — можно было расценить как отдаленный аналог той винной классики, что была в большом почете у людей маминого поколения.

Низкий женский голос, донесшийся до меня из ларьковой утробы, объявил цену.

Выводит, «бабоукладчик» за две недели подорожал чуть ли не вдвое.

Я сунул в окошко деньги, толстопалая рука с аляповатым перстнем на безымянном пальце выдала мне плоскую бутылку «Амаретто».

3.

— Ну и по какому случаю выпивон?

Некоторое время Фро молча следила за тем, как я выставляю на стол опушенную матовым инеем «Смирновскую», не бог весть какую закуску и расставляю яства на столе, и вот, наконец, решила подать свой начальственный голос.

— Это сойдет? — спросил я, выставляя на стол темную бутылку «Амеретто».

— Вполне, — медленно кивнула Фро. — Но ты не ответил на мой вопрос.

Дверь за моей спиной протяжно зевнула, впуская в комнату дыхание сквозняка.

— Ого! — прогудел голос Твигги. — Бабоукладчик. И кого из нас ты решил сегодня уложить в койку?

Подойдя сзади, Твигги нежно обняла меня, под тяжестью ее руки я непроизвольно согнул плечи и вздрогнул, потому что ласковый сестринский жест дизайнера можно было расценить как намек на разрешение этого вопроса. Мысль эта повергла меня в трепет еще и потому, что в числе мелких заметок, которые я подготовил для текущего номера, была информация про одну всемирно известную стриптизершу, частенько гостившую на страницах нашего журнальчика и знаменитую на весь мир тем, что обладала необъятных размеров грудью. Звали ее Большая Берта, обитала она в Техасе, а ее шедевральные буфера имели объем в 125 сантиметров; при этом каждая ее грудь, как скрупулезно посчитали знатоки жанра, весила семь с половиной килограммов.

Заметка впрочем, квартировала в рубрике «Криминал», поскольку речь там шла о судебном иске какого-то сублильного гражданина, имевшего глупость забраться к Большой Берте в постель. Кончилось дело тем, что мужика забрала Скорая помощь и отвезла в больницу, где врачи констатировали сотрясение мозга. Придя в себя, этот несчастный сообщил медикам, что травму ему нанесла знаменитая обладательница огромного бюста.

Что за резкое телодвижение она совершила по ходу любовных утех, оставалось неясным, но травмированный дядечка в своем судебном иске утверждал, что сотрясение мозга явилось следствием мощного удара грудью в висок...

Буфера нашего дизайнера мало чем отличались от габаритов известного на весь просвещенный мир бюста, так что Твигги при желании запросто могла ударом своей могучей груди вышибить мне последние мозги.

— Фро, — сказал я. — Ты просто забыла. Ровно месяц прошел с того дня, когда я впервые переступил порог юдоли порока и вчера получил первую зарплату. По старой доброй традиции полагается накрыть поляну. Кстати, у меня в запасе есть один раритет. Воистину музейный экспонат. — Вынув из рюкзака батон батон микояновской колбасы, я положил его на стол.

Фро частенько озадачивала меня тем, что проявляла поразительную неосведомленность о фактах и событиях текущей жизни — зачастую знаковых и даже судьбоносных.

— Ты что, не слыхала, что Микояновский мясокомбинат вчера накрылся медным тазом? Сообщение произвело на нее оглушительное впечатление.

Откинувшись на спинку своего кресла и уложив затылок на мягкий валик подголовника, она тупо взидала в потолок, пытаясь, как видно, осмыслить тот факт, что легендарный Микоян, чья продукция лоснилась жирком и аппетитно благоухала еще на страницах хрестоматийной «Книги о вкусной и здоровой пище», тот самый, что кормил пол страны в голодную пору, когда со всех концов нашего отечества в сторону Москвы тянулись битком набитые сумрачным людом «колбасные» поезда и электрички, тот самый, что, в сущности, был одним из столпов нашего бытия, отныне не существует.

— Этого не может быть... — тихо выдохнула Фро.

— Может. Так что есть еще повод поднять рюмку. И помянуть нашего старого доброго кормильца. Мир его праху.

— И что на этот раз у тебя нарисовано на попе? — ласково осведомилась Твигги. — Знак вопроса?

В момент моего первого появления здесь месяц назад на моей правой ягодице пламенел начертанный ярко красной краской толстый восклицательный знак. Но видеть его могла только Алка. Выходит, она поделилась в свое время своими наблюдениями с коллегами. Алка метнула гневный взгляд на Твигги, и в ее лице полыхнул яркий румянец.

5.

Помнится, месяц назад я украсился я этим значком в сумрачной подворотне старого трехэтажного дома на Селезневке, с которым соседствовал офис взятого разгневанными гражданами в осаду банка. Судя по градусу кипения толпы, до решительного штурма оставалась совсем немного. Какие уж пути вывели меня в эти края, толком я теперь уже и не вспомню. С тех пор, как 17 августа я в состоянии, близком к коматозному, прибыл в Москву, и очнулся двое суток спустя в собственной койке, мучаясь с похмелья и при этом совершенно не понимая, как мне удалось добраться из Внуково до родной Полянки — дня мои текли, в сущности, однообразно.

Равно как и тех сотен тысяч собратьев по несчастью, которые, потеряв в одночасье работу, с утра пораньше отправлялись обивать пороги разнообразные конторы в тщетной попытке найти хоть какой-то заработок.

Однако месяц назад, 19 августа я еще не знал, какая участь мне уготована, потому приказал себе встать с койки и одеться. Впрочем, особо понукать себя необходимости не было — меня мучила жажда, а пиво, которое я потихоньку лакал двое суток, не вставая с койки, закончилось.

За окном в то утро висел легкий туман, который я поначалу отнес к одному из проявлений похмельного синдрома, однако очухавшись и распахнув балконную дверь, я понял, что ошибался: голубоватая муть, в самом деле, блуждала в кроне старой липы, росшей во дворе, и густела около земли, потому металлические помойные короба, фонтанирующие лавой давно, как видно, не вывозимых отходов казались выписанными водянистой акварелью. Апокалиптичность картины подчеркивало ржавое поскрипывание пустых детских качелей — они мерно раскаивались туда сюда, еще, как видно, не успокоившись после того, как какой-то дворовый мальчик соскочил с деревянного сидения да и убежал за угол дома.

С грехом пополам одевшись, я вышел в туман, побрел в сторону метро в надежде разжиться пивом в одной из множества обступивших станцию метрополитена палаток и там, на лесенке, убегавшей в чрево подземного перехода, тема апокалипсиса вновь коснулась меня.

Коснулась, впрочем, это еще мягко сказано.

Какой-то средних лет мужичонка в сером плаще, скакавший вверх через две ступеньки едва не сшиб меня с ног. За миг до нашего столкновения я успел обратить внимание на то, что лицо у него опрокинутое, а кроме того он как-то странно держал руки на отлете, сомкнув ладони домиком, словно грел в них воображаемый снежок или же теннисный мячик.

Налетев на меня на полном ходу, он всплеснул руками, окатив меня россыпью жетонов для прохода в метро.

Мы принялись собирать латунные кругляшки, бросившиеся врассыпную по влажному асфальту — в общей сложности я насчитал их тридцать штук.

«Зачем тебе столько?» — спросил я.

«Ты что, с Луны свалился? — отозвался он, рассовывая жетоны по карманам плаща. — Слышь, парень. Где тут можно прикупить автобусных билетов?»

Я сказал, что не знаю, мужичок убежал по Большой полянке в сторону поворота на Старомонетный переулочек и скрылся за углом. Один жетон застрял между бордюром и асфальтом. Я выковырил его и сунул в карман. Спустившись в подземелье, я обнаружил приличную толпу граждан, штурмовавших окошечка метрошных касс — в глазах у людей, продиравшихся сквозь толпу от заветных окошек с пригоршнями жетонов, искрился тот самый лихорадочный блеск, что у мужичка в сером плаще.

Очередную толпу я заметил возле обменника, располагавшегося на углу дома при выходе из подземного перехода — она не по-доброму гудела в ответ на яростные вопли высунувшейся наполовину из двери женщины с пунцовым от напряжения лицом.

«Нету долларов, нету! — срываясь на хрип, орала она. — И не будет!»

Мне почудилось, что еще немного, и эту несчастную тетку просто линчуют.

Предчувствие того, что конец света если еще и не наступил, то, во всяком случае, процесс скончания времен находится в самом разгаре, окрепло примерно через час, который я потратил на поиски пива.

Это было просто невыносимо. Все знакомые мне палатки, разбросанные в великом множестве в районе Большой Полянки, были закрыты. Оставалась хрупкая надежда на маленький социальный магазинчик в Щетининском переулке, приютившийся в подвале, в торце старого кирпичного дома, соседствовавшего с музеем Тропинина и выходящего фасадом на глухую стену, огораживающую территорию израильского посольства, — эта торговая точка была известна разве что местным аборигенам вроде меня. Там мне улыбнулась удача.

Загрузив в рюкзак пять бутылок «Балтики», я выбрался из сумрака подвала на свет божий и обнаружил, что в привычной меланхоличной интонации этого тихого безлюдного переулочка возник новый бодрый мотив. Он звучал со стороны серой милицейской будки, охранявшей доступ в какой-то отдел посольства, скорее всего, консульский, куда наведывались граждане, испрашивавшие визу для поездок в землю обетованную.

Разглядывая издали жидкую, число так человек в десять группу граждан, сгрудившихся возле милицейской будки, я машинальным жестом сдернул с плеча рюкзачок, извлек из него бутылку, открыл ее и сделал большой, от полной души, глоток, — поверить в реальность происходящего на трезвую голову я никак уже не мог.

Попадая сюда, я часто видел чернявых, носатых — а иногда и с пейсами — людей, прохаживавшихся вдоль посольской стены, однако теперь, похоже, за визами в землю обетованную устремляются натуральные казаки.

Вылакав пиво до дна, я аккуратно поставил пустую бутылку на бордюр тротуара и направился в сторону малочисленного казачьего войска. Путь мне преградил рослый мужик, в повадке которого угадывался статус атамана. Усы, черный чуб, выбивавшийся из-под фуражки с синим околышком, синий же мундир, стянутый ремешками португалии, галифе с лампасами и до зеркального блеска отдраенные сапоги из мягкой кожи прилагались.

«Хлопец! — гулко провозгласил атаман. — Ты платишь квартплату?»

«Да», — машинально отозвался я.

«Больше не плати».

«Почему?» — тем же тоном спросил я.

«Потому что атаман Всевеликого войска Донского вчера призвал всех русских людей не платить больше ни копейки правительству этих жидов! — он выразительно кивнул головой в сторону ворот посольства. — Ты что, с Луны, хлопец, свалился? Женщины сегодня уже перекрыли Транссибирскую магистраль. А шахтеры дают просрать жидам, засевшим в Белом доме. — Он выдержал паузу и сверкнул черным глазом. — Ты понял. Квартплату не плати. Хватит нам кормить всякую сволочь!»

«Как скажешь, атаман, — кивнул я и, обращаясь к остальным бойцам, добавил. — Мне это, братцы, очень даже любо!»

Я поднял глаза к дымному мутному небу, прислушиваясь, и мне показалось, слуха моего коснулась то ритмичная дробная мелодия, что высекали, молотя своими касками об асфальт, все еще сидящие на Горбатом мосту напротив Белого дома шахтеры.

К вечеру 19 августа, вылакав остатки пива за прослушиванием радиопередач — телевизора в моем доме не было — я уже в общих чертах имел представление о масштабах грянувшего в наших пределах два дня назад конца света.

6.

Следующий месяц я потратил на поиски работы. Вставая с утра пораньше, я выходил из дома в туман — отчего-то вторая половина августа и начало сентября погружали Москву в эту неизбытную сероватую муть — и весь день слонялся по городу.

Ничего путного я так и не подыскал.

Удача как будто улыбнулась мне в компании, владевшей сетью общественных туалетов, где требовался надзиратель за писсуарами. Однако собеседование с главой компании, миловидной платиновой блондинкой с интеллигентным лицом и грустными серыми глазами поставила крест на моих надеждах обрести устойчивый заработок: как оказалось, за писсуарами должна была, по мнению руководства компании, присматривать особа женского пола.

Потом я брел по Селезневке, мимо подворотни, черным провалом зияющей в теле желтого трехэтажного дома. Кто-то, вынырнувший из темного жерла этой норы, схватил меня за руку и рывком втащил по низкий свод арки.

Подворотня оказалась глухой, выход из нее во внутренний дворик дома был забран дощатыми щитами, поэтому я не сразу сообразил, что происходит, и лишь когда глаза немного освоились с царящим здесь сумраком, различил бледное пятно, маячившее примерно в метре от земли на противоположном краю этой зловонной, распространявшей густые запахи плесени и мочи норы.

Подойдя поближе, я без особого удивления — события последнего месяца напрочь отбили способность чему-либо удивляться — я определил, что матовое пятно представляет собой, собственно, голый женский зад, на мой вкус, вполне аппетитный.

Созерцание пикантных округлостей, впрочем, не отозвалось во мне эмоциями, связанными с приливом желания.

Всего пол часа назад я сидел в уютном кресле в тесной белостенной комнатке с наглухо зашторенным окном, обстановку которой составляли это самое кресло да стоящий прямо перед ним телевизор, на экране которого две блондинки, по виду потомки скандинавских викингов, сменяя друг друга, старательно ублажали здорового, вальяжно распластавшемся на обширной койке, негритоса.

Усердие скандинавских девушек, впрочем, совершенно не трогали этого черного как южная ночь орангутанга с низким лбом и огромным ртом — по ходу дела он с громким хрустом грыз чипсы, сонно глядя в потолок.

Наблюдая за этим достаточно унылыми видео, я лениво мастурбировал, а закончив дело и получив причитающийся мне гонорар, выбрел на улицу и спустя минут пять достиг этой самой подворотни, где теперь и пялился на голый женский зад.

Зрение окончательно освоилось с потемками. В подворотне я был, как оказалась не один, компанию мне составляли человек десять людей обоего пола, в основном лет тридцати или чуть больше. Рядом с обладательницей голого зада, опиравшейся руками на деревянную панель, прикрывавшую выход из арки, сидела на корточках лет тридцати женщина и, сжимая в руках толстую кость, любовалась делом рук своих.

Ее лицо показалось мне знакомым. Ну да, пару раз эта энергичная деваха с роскошной шевелюрой рыжих, мелким бесом выющихся волос, мелькала на экране телевизора.

Звали ее, кажется Вероника. Фамилия ее как-то вылетела из памяти — вот разве что на задворках подкормки смутно бродили какие-то аллюзии: запах горькой степной полыни, хрипы загнанных долгой гонкой лошадей, сочный аромат мутноватой свекольной горилки, да вот еще горячее дыхание раскаленного пулеметного ствола... Да-да, фамилия ее имела какие-то отчетливые разбойные гуляйполянское корни. Ну, разумеется!

Да. Она была — Махно. Вероника Махно, очень мило.

Эта художница со звучной фамилией, насколько я знал, исповедовавшая в своем творчестве жанр агрессивного авангарда, то и дело устраивала в центре города эпатажные перформансы. Последним ее произведением, запавшим мне в душу, была акция группы активисток зеленого движения, устроенная прямо напротив роскошного мехового бутика в центре Москвы. Запалив на тротуаре внушительный костер, девушки разом сбросили с себя долгопальные пуховые пальтишки, под которыми, как оказалось, ничего не было, и, согреваясь на стоявшим в ту январскую пору приличном морозце, сгрудились у костра. Вероника Махно тем временем — она тоже полностью разоблачилась — подняла над головой транспарант, на котором было начертано:

«А ЕСЛИ С ТЕБЯ, СУКА, ЖИВЬЕМ СОДРАТЬ ШКУРУ!?»

Какая именно суку имелась ввиду, стало ясно сразу — из дверей бутика выскочила хозяйка мехового салона, а в мгновение ока собравшаяся поблизости толпа сердобольных мужиков принялась стягивать с себя куртки, пуховки и пальто, чтобы укутать девчат.

«Впечатляет», — оценил я очередное творение Вероники Махно.

Она коротко кивнула, кинув взгляд на женщину, ягодицы которой украшали выписанные ярко красной краской буквы «У» и «К».

«Ты вкладчик этого банка»? — спросила Махно, отослав кивок в сторону кипевшей за выходом из подворотни улицы.

Там было, в самом деле, горячо. Толпа, разогретая уже до точки кипения, ломилась в офис расположенного на противоположной стороне улицы банка, название которого мне ни о чем не говорило. Я вообще за последнее время настолько привык к тому, что где банк — там и толпа разъяренных граждан, равнодушно прошел мимо.

«Впрочем, без разницы, — махнула кистью Вероника. — Поможешь нам? Нам одной жопы не хватает».

«Почему нет? А что надо делать?»

«Штаны снимай!» — властно повелела Махно.

Что-то во взгляде ее ярко зеленых глаз было гипнотическое — я послушно исполнил приказ, встал на место своей предшественницы, уперся руками в дерево щита и вздрогнул в тот момент, когда мягкий, но очень холодный язычок кисти коснулся моей ягодицы. Судя по движению кисти художницы, она выписывала букву «И» слева, тогда как справа итог творческому процессу подвел жирный восклицательный знак.

«Ну, все, о-кей, ребята! — провозгласила Махно. — Значит, выходим согласно номерам. Ты, парень, будешь последним. Твое место — крайний справа».

Выстроившись согласно номерам друг дружке в затылок, мы двинулись на выход, более или менее четким строем пересекли улицу — толпа все равно перекрывала движение. Некоторое время у Вероники ушло на переговоры с парой каких-то граждан, как видно, закопчиков этой бучи.

Я тем временем рассматривал толпу и обратил внимание на мента, стоявшего чуть поодаль, — как видно, его прислали контролировать обстановку. В происходящее этот капитан — судя по россыпи мелких звездочек на погонах — не вмешивался, и я его вполне понимал: начини он гнать волну, его линчевали бы на месте.

Наконец, предводители народного бунта дали команду, и толпа расступилась, пропуская нас к металлическим ограждениям, перекрывавшим вход в офис банка.

«Ну, поехали, — скомандовала Махно. — На счет три!»

На счет три наша веселая гоп-компания синхронно стянула с себя штаны, явив засевшим в осажденном банке финансистам ровный строй голых задниц, на который пламенел лозунг:

«ВЕРНИТЕ НАШИ ДЕНЬГИ, СУКИ!»

Толпа взорвалась бурей овация. Я покосился налево.

Там в сторону банка на полных ходах неся среднего размера автобус. Его бело-голубая раскраска подсказала мне, что это какое-то ментовское средство транспорта. Я тронул за локоть Веронику, которая стояла рядом и тихо произнес:

«Махно... Атас!»

«А?» — недоуменно моргнула она.

«Шухер, говорю!» — во всю глотку гаркнул я, и, поддериная на ходу джинсы, понесся куда глаза глядят и только добежав до светофора, регулировавшего движение на перекрестке, разрешил себе перевести дух и оглянуться.

Ровный строй омоновцев, напоминавших издавна космических андроидов, пробив брешь в толпе, ломился в офис банка. Шедший на штурм первым боец, державший в руках здоровенную кувалду, от души размахнулся и со всей дури засадил молотом в стеклянную дверь.

Чем там дело кончилось, я уже не видел, потому что сзади мимо меня проплыл тонкий аромат хорошего парфюма, я повернул голову в ту сторону и тут же услышал в ушах отдаленный гул, как если бы я прислонял к уху рожок рапанной раковины.

Я знал природу этого гула — то подавал свой властный голос Основной инстинкт.

7.

Инстинкт среагировал на женщину, удалявшуюся от меня вверх по безлюдному сонному переулку. Ее узкие плечики плотно облегла ткань сиреневой синтетической курточки со стоячим воротничком, коротенькой, до уровня талии. Охватывающая талию широкая резинка подчеркивала ее узость. Светло голубые джинсы, сидевшие в обтяжку, наподобие второй кожи, плотно облекали ее восхитительно оттопыренный зад, подчеркивая совершенство его замечательной формы.

Ничего подобного я в жизни не видел.

Это была не просто попа, а отлитое в упругую плоть совершенство.

Не в силах оторвать от нее взгляда, я словно лунатик, двинулся следом, наслаждаясь созерцанием того, как с непринужденной плавностью раскачиваются на ходу ее бедра. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она, наконец, остановилась. На самом деле от перекрестка, где меня коснулся аромат ее парфюма, до этого глухого, возвышавшегося до уровня двух человеческих ростов забора, собранного из рифленых дюралевых панелей, было от силы метров сто.

Потыкав тонким пальчиком в панель замочной клавиатуры, она толкнула калитку и хотела было шагнуть вперед, но тут, дурашливо тряхнув головой, хлопнула себя ладошкой по лбу — жест забывшего сделать некое дело человека.

Выудив из висевшей на хрупком плечике плоской, рыжевато-коричневого оттенка кожаной сумки листок бумаги, она искала, куда бы его укрепить на воротной панели, нашла маленькую головку выпирающей из металла заклепки и, насадив лист на нее, скрылась за воротами.

Я торопливым шагом приблизился к калитке, глянул на листок, тут же сорвал его, аккуратно сложил пополам, тут же спрятал во внутренний карман куртки и повертел головой.

На то чтобы вот так коротко и опасно зыркнуть по сторонам у меня были веские причины.

Случить кому-то из собратьев по несчастью, в великом множестве встречаемых мной на бирже труда или в разного сорта конторах оказаться в этот час в сонном переулке, между нами неминуемо возникла бы потасовка в яростном споре за право обладания этим листом бумаги стандартного формата А-4. Потому что его украшало короткое, откатанной на добротном принтере сообщение:

«ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР»

Возвратный механизм железной калитки действовал крайне неторопливо — я успел упереться в дверь как раз в тот момент, когда она должна была встать на место и клацнуть запором.

Сделав шаг вперед, я замер на месте, потеряв дыхание — настолько поражало воображение то, что я увидел за высоченным забором.

Я много чего повидал за последний месяц и, как мне казалось, вполне освоился с существованием в странноватых условиях постцивилизации, однако открывшаяся моему взгляду картина заставила меня плотно зажмуриться и потрясти головой.

Это был дом с мезонином.

Причем выглядел он ровно так, как если бы поднялся сюда откуда-то из темных донных глубин рубежа веков или вывалился прямо из текста хрестоматийного рассказа Чехова.

Теперь я уже не мог припомнить, утруждал ли себя Антон Павлович подробным описанием дома в имении Волчаниновых, однако, глядя на эту сказочную избушку, основательно сложенную из массивного круглого бруса, с тускловатыми оконцами, отороченными витиеватой вязью резных наличников, с этим ладным крылечком, накрытым козырьком ломаной крыши, с самым настоящим мезонином, по центру которого было врезано широкое арочное окно, я чувствовал что классик бродит где-то поблизости и шурит свой ироничный глаз, глядя на меня поверх пенсне. Или же он вышагивает по тропкам обступившего дом сада, в которой спазматически заламывали корявые сучковатые руки старые и как видно, давно разучившиеся родить яблони.

Какими ветрами занесло сюда, почти в самый центр Москвы конца века этот патриархальный чеховский домик, я понять не мог.

Поднявшись по скрипучим ступеням крылечка, я подергал дверь. Она не поддавалась. Возможно, вход находился в тылу дома. Так оно и оказалось. Обогнув дом справа, я увидел в глубине сада маленький искусственный пруд, дно которого было выстелено серым бетоном; по центру его возвышались пирамидкой сложенные в форму альпийской горки камни. Этот выплеск фантазий какого-то современного мастера ландшафтного дизайна звучал в патриархальном антураже явным диссонансом, равно как и тяжелая металлическая дверь, темневшая к глухой тыльной стене дома. Дверь была не заперта, я вошел.

Миновав узкие темные сени, я открыл очередную дверь и оказался в тесном чуланчике, интерьер которого составляли типичные для стандартной офисной кухоньки предметы обстановки — задерживаться здесь я не стал и, пройдя глухим узким коридором, замер около распахнутой настежь двери, открывавший доступ к просторному, должно быть, во всю ширину дома помещению, залитому прохладным светом неоновых потолочных ламп.

Потянув носом, я сглотнул слюну, уловив дыхание того пряного, с примесью кислинки и горчинки, аромата, что распространяет приготовляемая для выпивона закуска. Однако в желудке у меня возникло ощущение, напоминающее легкой сквозняк вовсе не потому, что со вчерашнего вечера у меня во рту маковой росинки не было, — тут был магнит поприятнейшей: монитор стоявшего на столе справа компьютера, в котором висела заставка Windows-98.

Этот софт — официально, с помпезной презентацией русскоязычной версии — появился у нас совсем недавно, месяца полтора назад. Сам я, например, пользовался стареньким девяносто пятым виндом — как и большинство сидевших в Москве за компьютерами людей. Девяносто восьмой винд могла себе позволить только очень продвинутая публика.

«Да, я хочу работать здесь...» — мысленно произнес я, глядя на монитор другого компа.

Мало того, что этот комп был подключен к и-нету, так еще в его мониторе висела страничка чьей-то открытой мэйловой почты.

Портал mail.ru — опять-таки совсем недавно! — объявил о предоставлении восхитительного сервиса, с помощью которого можно было запросто и задарма открыть свою личную электронную почту. Все кто имел дело с техникой, понятное дело, мечтали о том, чтобы обзавестись личным почтовым ящиком и я в том числе. Ну, мечтать не вредно. Тем более если мечты эти совершенно беспочвенны — прицепиться к Интернету были в состоянии лишь те небожи-

тели, которые работали в крупных корпорациях, способных платить за пользование «паутиной». Простым смертным оставалось только облизываться.

«И я буду работать здесь!» — торжественно поклялся я, увидев предмет, лежавший на самом краешке ближнего к двери стола.

Предметец этот вполне умещался на широкой мужской ладони, на моей, скажем, однако представить себя, что он хоть когда-нибудь в мою ладонь ляжет я — при всем богатстве мой фантазии — не мог.

Это был сотовый телефон. Присмотревшись к нему, я тихонько присвистнул. Это был не просто сотовик. Это была мечта идиота — Simens S 11 E-plus. Мало того, что он поддерживал продвинутый стандарт GSM-1800, так еще и обладал цветным дисплеем. Все прочие доступные гражданину нашей страны модели, даже стильная Motorola Flare Flip с откидывающейся панелью, имели монохромный экран.

Обоняние в заблуждение не вводила — на широком конторском столе, выдвинутом в центр комнаты, были разложены на белых листах бумаги типичные для учрежденческого выпивона явства... Тонкие, жирно лоснящиеся листочки каких-то мясных нарезок в белых пластиковых ванночках, пара паштетов в коричневых пластиковых же гробиках, какие-то унылого вида ширпотребовские салатки в прозрачных круглых розетках, разумеется, тоже пластиковых, пара черных шпротных банок с задранными жестяными чубами, множество маленьких пирожных всех видов, форм и оттенков, и еще что-то, цапнутое, наверное, на скорую руку в ближайших супермаркете и кондитерской. Над живописным и источающим аппетитные запахи этим натюрмортом гордо возвышался букет, заточенный в прозрачный офисный графин, составленный из каких-то самодовольных и вульгарных в их приторной пышности цветов — возможно, это были георгины, а впрочем, я совсем в цветах не разбираюсь.

В чем я разбираюсь совсем неплохо от рождения, так это в напитках, разбираюсь давно, от рождения — в тугих моих жилах течет не жиденькая человеческая кровь, а темный, густо благоухающий, разогретый на жарком солнце Гурзуфа портвейн — и потому подбор жидкостей, сказать по правде, меня немного озадачил, учитывая, что общество, собравшееся в просторном кабинете, было представлено исключительно представительницами прекрасного пола. Причем на всю прекрасную компанию числом в пять прекрасных персон, приходился типичный скорее для мужских посиделок боезапас: шампанское для вида, Мартини, литровый «Абсолют», литровая «Белая Лошадь» и литровый же «Бифиттер» — солидно и очень духоподъемно.

Около стола хлопотала среднего роста, коротко стриженная женщина лет тридцати, стоявшая в пол оборота к входной двери. Она была беременна. Будущая мамаша была настолько увлечена сервировкой стола, что не заметила моего появления в дверях. Равно как и прочие сотрудницы, которые в этот момент сгрудились около высокого, в человеческий рост зеркала, стоявшего по левой стене между парой офисных стеллажей: женщина моей мечты, лица которой разглядеть я толком так и не успел, демонстрировала коллегам только что, как видно, купленные в бутике ажурные черные трусики, откровенный фасон которых так выразительно подчеркивал округлость и выпуклость ее пышных, цвета здорового ногтя, ягодиц.

На меня общество обратило внимание лишь спустя какое-то время и лишь благодаря вялому замечанию крохотной женщины в очках, походившей на дюймовочку. Глянув через плечо, она и оповестила девушек, задумчиво изучавших крохотный треугольник черной ткани, о том, что прибыл посторонний.

«Извините. Я вроде не ко времени... — пробормотал я и вытащил из внутреннего содраный мной с ворот лист бумаги. — Тут сказано, что вам требуется курьер».

Дюймовочка смерила меня долгим взглядом.

«Образование высшее?»

Мистика: этот вопрос мне совсем недавно задавала пепельная блондинка, отказавшая мне в должности надзирателя за писсуарами.

«Да. Диплом университета. Получил в начале лета».

«Поработать, конечно же, не успел?»

«Ну почему... Успел. Последние две недели работал».

«И где же?» — недоуменно прогудела гренадерской комплекции девушка сидевшая за Макинтошем, в большом мониторе которого висели какая-то программа верстки, скорее всего QuarkXPress.

«В банке».

«Ого! — округлила рот дюймовочка. — А что за банк?»

Я поразмыслил, однако более или менее вразумительного определения обретенной мною две недели назад должности так и не нашел, потому решил рубануть правду-матку с плеча.

«Это был банк спермы».

Возникла немая сцена. Дюймовочка сдвинула очки на кончик носа и глянула на меня поверх тонкой золотистой оправы; женщина моей мечты дурашливо прыснула в кулачок и отвела взгляд; гренадерша зычно хохотнула и покачала головой; будущая мамаша с протяжным вздохом опустила на столу и тупо уставилась на меня — в ее круглом лице возникло смешанное выражение изумления и затаенной муки, какое, наверное, проступает в лицах женщин, у которых неожиданно начали отходить воды.

«Еще раз!» — тихо, но твердо произнесла женщина в очках.

Еще раз проходить эту тему у меня, сказать по правде, большой охоты не было, ну да делать нечего, пришлось припомнить тот утренний туман, в котором я, растворяясь без остатка, бродил по городу в поисках работы. К середине дня я совершенно одурел от этой бесполезной маяты, и вот вдруг нашел себя на Селезневке споткнувшимся на ровном месте, потому что боковым зрением отметил лист бумаги, прищипленный к черной железной двери.

Никакой вывески над дверью не было. Но это меня несколько не волновало, потому что в мелком тексте, отпечатанном на листке бумаги, полыхнуло выделенное жирным шрифтом слово «ТРЕБУЕТСЯ».

Кто именно требуется — мойщик посуды, ассенизатор, уборщик туалетов или ночной сторож — меня не волновало, я рывком распахнул дверь, взлетел по лесенке на второй этаж и ломанулся в первую же попавшуюся дверь, за которой меня встретила строгим взглядом женщина лет сорока в белом докторском халате, восседавшая в маленьком белостенном кабинете за канцелярском столом около окна. Плюхнувшись на жесткий конторский стул, я выпалил, что согласен.

«На что, простите, вы согласны?» — поморщилась хозяйка кабинета.

Ну как же, горячо принялся объяснять я, на любую работу согласен, ведь на двери вашего офиса висит бумаженция, в которой черным по белому написано, что вашей компании кто-то требуется.

Женщина покачала головой и протянула мне лист бумаги — копию того, что видела на двери — из которого я узнал, что заведению, в самом деле, требуется, однако требуется не кто-то, а что-то.

В бумаге четко было написано, что именно.

Имело, конечно, смысл прочитать текст целиком, а не ломиться напролом в это заведение, которое представляло собой один из филиалов банка спермы.

Так или иначе, мы сговорились. Ознакомившись с условиями труда, заполнив анкету, а так же сдав кровь для экспресс-анализа, я отправился в уютную комнатку, обстановку которой составляли кресло да телек с видеоманитофоном, и приступил к исполнению обязанностей.

«Ты хочешь сказать... — прогудела огромная женщина. — Что твоя работа состоит в том, чтобы смотреть порнуху и драть?»

«А что такого? — отозвался я. — Не самая худшая по теперешним временам работа».

«Варвара! — Дюймовочка едко поморщилась, и гаркнула на гренадершу: — Ну, я тебя умоляю!»

В тот момент я еще не знал, что Варвара родилась и росла в не самом, скажем так, благополучном окраинном районе, она впитала в себя его сумрачную ауру и привычку выражаться без эффемизмов; пару раз по молодости лет она оказывалась в эпицентре дворовых побоищ, и видимо показала себя не последним кулачным бойцом; с тех пор гопники старались обходить ее стороной.

«Ну, все, все, молчу», — примирительно пробормотала Варвара.

Возникла долгая пауза. Дюймовочка задумчиво покусывала уголок рта, пристально разглядывая меня. Затем она перебросилась взглядами с коллегами. Гренадерша — варварское имя Варвара подходило ей вполне! — в ответ повела могучими плечами — в ответ на это легкое движение ее невероятно пышный бюст выразительно колыхнулся. Беременная склонила голову на бок — смысл этого жеста был слишком неопределенен, равно как и реакция гренадерши. Зато женщина моей мечты мелко закивала, и я понял, что судьба моя решена.

«О-кей, — подвела итог безмолвным диалогам женщина в очках. — Ты нам подходишь, — она кивнула на ломящийся от яств стол. — Присоединяйся. Мы вроде как провожаем Нину в декретный отпуск».

Мы расселись, выпили за благополучное разрешение редактора Нины Сабаневич от бремени, потом выпили еще, я выяснил, что контора, в которую меня столь счастливым образом привел основной инстинкт, представляет собой редакцию журнала, что рулит этим изданием дюймовочка Ефросинья Самарина, среди своих Фро, что женщину моей мечты зовут Алла Германовна.

Я уже хотел было произнести какой-нибудь тост, однако меня сбила с толку перемена в сидевшей напротив Фро: в лице ее возникла туманная улыбка, глаза потеплели, она с мимическим упреком — однозначно лукавым, притворным! — наморщила носик и тихо выдохнула:

«Ну, Сережа! Ну, вечно ты опаздываешь!»

Я обернулся. В дверях стоял высокий сухопарый человек лет сорока пяти с жестким серым лицом, черты которого казалось, были грубовато или скорее неряшливо вырубленными не очень трезвым камнетесом из дешевого серого гранита; этому ваятелю следовало бы подретховать, смягчить острые грани лица — резкий очерк скул и подбородка, например, однако он этого не сделал; если бы какому-то поклоннику кубизма взбрело в голову создать мужской портрет, то лучшей модели трудно было бы сыскать, поскольку писать это лицо можно было в точном соответствии с оригиналом, нисколько не напрягая фантазию.

При всем при этом оно излучало какое-то очень тонкое и невнятное настроение, которое было сродни ощущению глубокой печали — даже при том, что выражение его серых, с рыжеватыми прожилками, широко расставленных глаз с общим настроением не монтировались — взгляд был жесток и колюч, вполне гармонирую с фактурой тяжелого, связанного их грубой и колкой деревенской шерсти свитера, высокий ворот которого подпирали квадратный подбородок.

Несколько рюмок крепкого алкоголя, упавших на дно моего пустого со вчерашнего дня желудка, свое дело сделали, я поплыл, потому, глядя на бутылку, высывавшуюся красный нос из кармана его вельветовых штанов цвета хаки, развязным тоном изрек:

«О! Пришла пора сугубо литературных напитков!»

Человек на удивление приветливо отреагировал на мою реплику, смысл которой, кажется, ускользал от сгрудившихся за столом прекрасных дам — глаза потеплели. Мы вполне

понимали друг друга: российской «Букер» благополучно накрылся, что, в общем, не удивительно в условиях конца света, когда приказывают долго жить такие столпы эпохи, как Микояновский комбинат. Однако как раз вчера пришло сообщение от компании Smirnoff: знаменитая водка не даст обрушиться нашей культуре во прах и отныне будет кормить наших прорабов духа и инженеров человеческих душ, выступая спонсором «Букера». Словом, главная наша литературная премия приобрела отчетливый привкус крепкого алкоголя.

«Познакомься, — сказала мне Фро, наливая в свой стакан изрядную дозу „бабоукладчика“. — Это Абросимов. Сережа...»

«Ну, точнее... — скорчив гримаску, выдохнула Алла Германовна в кулак выхлоп только что опрокинутой рюмки и сделав паузу, добавила: — Сергей Вениаминович».

8.

Сергей Вениаминович Абросимов задремал — мерное раскачивание пролетки на мягком резиновом ходу убаюкивало. Сказывалась дикая усталость последних недель. Картографический отдел генерального штаба, в котором Абросимов служил в чине поручика, работал круглые сутки, готовя множество подробнейших карт местности, захваченной театром военных действий. По столице давно ходили слухи о скором наступлении, и острее всего их небеспочвенность ощущали на себе именно картографы. Полковник Кулагин, начальник отдела, спуску подчиненным не давал — они с ног валились от недосыпа. Потому поручик направлялся домой в блаженном ожидании вожделенного отдыха, полагая провести одну половину отпускных суток в объятиях Морфея, а другую посвятить работе над важными документами, которые прихватил с собой.

Из состояния дремотной одури его выкинул резкий толчок — возница на полном ходу натянул вожжи, пролетка дернулась, пошла юзом, едва не завалилась на бок. И лишь потом в ватное со сна сознания поручика вошел истошный вопль ямщика:

— Куда, ч-ч-черт! Дура еловая!

Приподнявшись с места, Сергей Вениаминович, повертел головой, не улавливая еще причину столь резкой остановки, и только спустя время до него, наконец, дошел смысл происшествия: юная женщина в шерстяном пальто, неловко раскидав ноги, обутые в миниатюрные ботики, лежала на тротуаре и, казалось, не подавала признаков жизни.

Поручик догадался, что произошло. Возница, который, скорее всего, полу спал на своих козлах, попросту не заметил идущую через пустынную улицу женщину.

— Олух царя небесного! — досадливо махнул рукой поручик, выскакивая из коляски и подбегая к несчастной жертве этого прискорбного дорожного происшествия.

Он заглянул в лицо женщины и едва не потерял дыхание:

— Мадемазель Жаклин?!

Эту обворожительную женщину хорошо знали в столице. В ее салоне по пятницам собиралось светское общество. Был там принят и Сергей Вениаминович — по рекомендации одного из знакомых офицером. Причем, казалось, хозяйка салона выделяла его из множества посещавших салон военных — ему не раз случалось ловить на себе томные, заставляющие сладко ломить сердце, взгляды ее влажных глаз. И даже удостоился он подарка на прошлое рождество: хозяйка салона преподнесла ему изящную китайскую вазу старинного фарфора.

Эдакое внимание к скромному молодому офицеру со стороны обворожительной женщины выглядело по меньшей мере странным. Назвать поручика красавцем язык бы не повернулся. Он был высок и худ, грудь имел впалую, потому мундир сидел на нем не очень ладно, оттого, должно быть, что Сергей Вениаминович имел привычку горбиться. Недуг сутулости был, скорее всего, врожденным — скверная привычка гнуть плечи по наследству досталась ему от отца, капитан артиллерии в отставке, человека нервного нрава, если не сказать вздорного. Дня не проходило, чтобы отец не пенял маленькому Сереже на его обыкновение в минуты

расслабленности опускать плечи и частенько, выходя из себя и вооружившись тяжелой лакированной тростью, больно бил мальчика по лопаткам. Злоязычные товарищи по кадетскому корпусу звали его за глаза Горбуном. Словом, фигурой поручик Абросимов явно не вышел, да и лицо имел весьма от совершенства далекое, напрочь лишенное гармонического начала и казавшееся неряшливо слеplенным из грубоватых и резких черт. Скорее даже не слеplенным, а вырубленным из куска серого камня, причем трудившийся над ним создатель, казалось, бросил свои труда в разгар творения, да и позабыл закончить, обтесав и сгладив резкие грани. Взгляд его серых его, с желтоватыми прожилками глаз был сух, холоден и колюч. Не добавляла поручику шарма и комическая походка — шагал Сергей Вениаминович мелко, да к тому ногу ставил плоско, сильно выворачивая носки, потому строевая подготовка давалась ему с большим трудом; сколько не муштровали его в кадетском училище на строевом плацу, все было без толку. Оттого-то гостям светского салона мадемуазель Жаклин казалось странным, что обворожительная хозяйка благоволит поручику и оказывает знаки внимания.

Сергей Вениаминович растерянно огляделся по сторонам. Улица лежала перед ним пустынная и словно бездыханная. Подхватив легкое тело женщины, он осторожно уложил ее в повозку, приказал гнать — благо до его дома было близко.

— Потерпите, мадемуазель, потерпите! — умолял Сергей Вениаминович, обращаясь к бездыханной женщине. — Сейчас мы, сейчас... В тепло... В уют... — подняв голову, он и найдя, что возница правит вовсе не туда, куда следует, он резко выкрикнул: — Да что б тебя! Левее забирай! Вон туда, под арку!

Ямщик успел в последний момент удержать верное направление, свернул под арку и остановился возле трехэтажного дома, построенного после второй мировой войны пленными немцами, в котором Сергей Вениаминович квартировал.

Подхватив мадемуазель Жаклин на руки, поручик взбежал по лесенке на второй этаж, к своему меблированному апартаменту за номером «пять». Отворив дверь, он быстро миновал прихожую, коридор, и ногой толкнул дверь кабинета.

Кабинет Абросимова представлял собой сгусток сонной, отчетливо пахший пылью материи света, оттенком напоминавшего слегка разбавленный кофе. Из него-то предметы обстановки и вылепливались, обретая четкость форм. По левой стене выпрямился по стойке «смирно» высокий, затылком подпиравший потолок стеллаж, проемы которого были наглухо замурованы шеренгами книг, выстроенных без какой-либо внятной системы — тут томик Трифонова соседствовал с потертым кафтаном Мережковского, Перес-Реверте клонился в поисках опоры на Алданова, а одноглазый Юрий Анненков с сигарой в вялых губах косился черным глазом на опрокинувшегося навзничь Шукшина.

Свет проникал сюда сквозь тяжелую гардину, косой волной накатывавшей из-под потолка на маленькое окно, и тускло бликовал в стеклянной дверке напольных часов с мерно чавкающим маятником и глуповатым золоченым кругом, в котором была заточена пузатая часовая стрелка — она лениво щекотала кончиком острого носа пятки вычурной, застывшей в вечном хороводе римской цифири.

Казалось, что легкий сумрак испаряли все предметы здешней обстановки — массивное совершенно неподъемное бюро темного дерева, намертво вросшее в квадратные плиты паркета и, казалось, своей тяжестью прогибавшее их. И купеческого фасона диван — столь же неподъемный — с широким чернокожим ложем и чуть отклоненной к стене спинкой, заточенной в изящную гнутую раму темного дерева, верхняя планка которой была перевита причудливой резьбой и венчалась по бокам парой башенок в форме шахматной туры. Стилистически извивы деревянного узора продлились в основательных боковинах с низкими подлокотниками, зачехленными в пухлые, черной же кожи, нарукавники. Компанию дивану составляло кресло, представлявшееся дивану — габаритами, осанкой и физиономией — ближайшим родственником.

Тем изящней смотрелся стоявший справа от кресла цветочный столик на тонкой, свитой из трех деревянных жил ножке, увенчанной плоской круглой панелью, на которой стояла та самая китайская ваза, что была подарена поручику хозяйкой салона.

Справа от входа в кабинет стояло массивное бюро, рабочее пространство которого была зачехлено покатою, собранной из тонких плоских реек крышкой, запираемой на замок, в скважине которого торчал медный ключик с головой в форме трилистника. Торопясь нынче утром на службу, Сергей Вениаминович забыл опустить крышку. На узкой столешнице бюро темнел чернильный прибор на массивном малахитовом основании, из которого выросла миниатюрная, с острыми ребрами, гранитная скала, оседланная серебряным орлом, расправившись потускневшие от времени крыла — гордая птица, чуть склонив голову, взирала на уютную лунку для ручки у подножия игрушечной горы и, может быть, угловым зрением отмечала пару усевшихся по бокам лунки чернильниц с откидывающимися сферическими крышками. С прибором соседствовал малахитовый челнок пресс-папье с медной ручкой и ветхим днищем, выставленным потрепанной промокашкой зеленоватого оттенка, слева же покоился старинный блокнот для заметок с откидной крышкой, обтянутый истершимся красным бархатом.

Диссонансом с общим минорным настроением этого сумрачного кабинета звучала выполненная в ярких веселых тонах картина, висевшая на стене слева от бюро, изображавшей морской берег — она излучала удивительно тонкое ощущение прозрачности и свежести; казалось, легкий морской ветерок мягко ложился на лицо зрителя, донося солоноватые запахи моря и росших за перилом ограды роз, распускавшихся справа от шаткой, составленной из долговязых зеленоватых реек беседки; ветерок уходил на простор, и подпихивал парус маленького парусника, отчаливавшего от крохотной пристани.

Войдя сюда с бездыханной женщиной на руках, Сергей Вениаминович беспомощно огляделся, не зная толком что предпринять. Затем бережно опустил тело мадемуазель Жаклин на диван, выпрямился и опять огляделся.

Взгляд его упал на стоявшую возле чернильного прибора пластиковую бутылочку Akva Minerale.

Смочив минералкой носовой платок, поручик вернулся к дивану и мягко потер платком виски женщины. Ресницы ее дрогнули и приоткрылись. Она уперлась в Сергея Вениаминовича мутным взглядом, приоткрыла рот, словно в попытке глотнуть воздуха — и не смогла.

— Сейчас, мадемуазель, минуточку!

Поручик расстегнул тугой ворот ее пальто, однако это не помогло: она по-прежнему была бледна и судорожно пыталась хватать ртом воздух. Пришлось снять с нее пальто, расстегнуть пару верхних пуговиц ее платья — и это, кажется, решительного облегчения бедняжке не принесло.

— Корсет... — едва слышно произнесла она.

Поручик впал в крайнее замешательство. В свои достаточно еще молодые годы он, конечно, имел некоторый опыт общения с женщинами, однако впервые ему своими руками раздевать светскую даму... Путаясь дрожащими пальцами в каких-то петельках, крючочках и неподатливых пуговках, он вдруг с замиранием сердца ощутил под своей неумелой рукой ее тугую грудь, округло вздымающуюся над жестким лифом корсета, и невольно задержал ладонь на этих манящих полушариях.

Она будто бы сквозь сон слабо улыбнулась, оперлась на его плечо, приподнялась, помогая ему покончить с оставшимися пуговками и крючочками. Стыдливо уведя взгляд в бок, он опустил верх ее платья и занялся корсетом. Расслабил тугую шнуровку на спине и спросил:

— Так легче, мадам?

— Да... — тихо ответила она, впервые вздохнув в полную силу, и он увидел как призывно розовеют под тонкой прозрачной кружевной сорочкой ее вольно приподнявшиеся на вздохе

груди. — Однако... — с трудом произнесла она, наморщив носик. — Нет, придется его снять. Мне все еще трудно дышать. Помогите мне.

Приподняв его ладонь, она погрузила ее под чашечку корсетного лифа, а он густо и жарко покраснел, почувствовав, как ее левая грудь мягко ложится в его руку. И опять он не нашелся, что предпринять, стоял столбом, наслаждаясь пьянящим кровь ощущением тепла, текущего из этой ее упругой округлости.

— Ну же, господин поручик, смелее! — умоляюще прошептала она. — Или вы желаете, чтоб я задохнулась совсем в этом панцире?

Он толком и не помнил, как освобождал ее от корсета, и пришел в себя лишь увидев прямо перед глазами ее сочные, мерно вздымавшиеся в такт выравнивающемуся дыханию груди. Какая-то сила толкнула его в спину — наклонившись, он коснулся их губами и ощутил упругость ее темных острых сосков.

Она ласково гладила его по голове, а он покрывал жаркими поцелуями ее груди, и в безотчетном порыве коснулся рукой ее мягкого податливого живота, погладил его, двинул ладонь ниже и наткнулся на какую-то гладкую и прохладную, словно лоснящуюся на ощупь преграду.

— М-м-м... — мягко упал сверху ее бархатный шепот, в интонации которого чувствовалась спокойная улыбка. — Это вам не в кавалерийскую атаку ходить, поручик. Это, мальчик мой, целое искусство нашей чисто женской фортификации... Такую крепость наскоком не взять!

Мягко оттолкнув его, она поднялась с дивана и, отступив на шаг, начала медленно и с томной улыбкой сдавать позицию за позицией.

Вот упала на пол юбка верхняя, а за ней последовала нижняя, обнажив голубые штанишки, поверх которых плотно облегал стройные бедра атласный пояс с черными подвязками, тянувшимися к краям черных чулок. Вот уже чулки с легким шорохом счистились со стройных, ослепительно белых ножек и на них упал пояс... Она стояла перед поручиком в одних своих голубеньких штанишках, словно приглашая его самостоятельно одолеть это последнее укрепление, и он, опустившись перед ней на колени, потянул их вниз. Теперь он, преодолев первую оторопь и вполне овладев собой, уже не торопился.

Мягкая и тончайшая ткань медленно опускалась, обнажая живот с изящной пуговкой пупка, потом показался ровный край бархатного темного пушка.

Она слегка расслабилась, чуть развела ноги, и он, скользнул нетерпеливой рукой по внутренней стороне бедра.

Она с легким смешком подтолкнула его в плечо. Он отшатнулся, поднялся в полный рост и впился губами в ее горячий влажный рот. Он слегка прикусила ему нижнюю губу и опять тихо рассмеялась. И опять он стоял столбом, давая простор ее проворным рукам, быстро освобождавшим его от мундира и потом вообще от всего, что на нем было. Она подалась вперед, плотно прижимаясь к нему, вминаясь бюстом в его крепкую грудь, ее маленькая рука скользнула по его животу, опустилась ниже, он ощутили касание ее тонких пальцев,

У поручика слегка закружилась голова. Он прикрыл глаза, наслаждаясь тем, как ее губы чертят на его груди влажный прерывистый след, а сомкнутые в тугое кольцо пальцы тем временем снуют ритмичным челночком то вверх, то вниз, а теплая влага ее губ уже потихоньку струилась все ниже, текла по животу и наконец достигла своей цели, губы мягко распахнулись, а поручик, наслаждаясь прохладной влагой ее рта, стоял ни жив ни мертв и тупо смотрел на мерно раскачивающийся маятник своих огромных напольных часов, и чем дальше, тем больше казалось ему, что внутри его раскачивается точно такой же маятник, с той лишь разницей, что мерная поступь сбивается с ритма.

Имея за плечами скабресную школу кадетского корпуса, где между воспитанниками велись, разумеется, разговоры о женщинах, причем самого откровенного свойства, Сергей Вениаминович был наслышан о так называемой французской любви, но, положив руку на

сердце, как-то мало верилось ему в то, что приличная женщина способна на такое. Однако теперь это происходило — и не угаре воспаленных фантазий безусых юнцов, а наяву. А маятник внутри его ходит туда-сюда все быстрее и быстрее, и даже померещилось поручику, что сошедшие с ума часовые стрелки завертелись в золоченом кругу, замельтешили перед глазами, как спицы быстро катящегося колеса, и чем они быстрее вертелись, тем быстрее нарастали в нем сладкие судороги. Зарождаясь в отдаленных уголках его тела, они быстро скатывались в одну точку. Понимая, что он уже не в силах совладать с этим лавинно неудержимым буйством, он попытался было отклониться, но она, крепко ухватив обеими руками его бедра, не отпустила, и он взорвался наконец.

— Простите великодушно... Такой конфуз, — залившись жарким румянцем, выдавил он из себя.

— Ах ты, дурашка! — тихо рассмеялась она, и, распахнув губы опять подалась вперед, и очень скоро Сергей Вениаминович, ощутил, как внутри его начинают бродить уже знакомые ему энергии.

Она поднялась с колен, прижалась к нему, подвигала плечами, и ее мягкие груди заскользили по его груди. Она опустила ладони на его плечи, чуть надавила — он опустился на ковер, лег, вытянувшись в струнку.

Широко расставив ноги, она наступала на него. Он прикрыл глаза, решив питать воображение не зрением, но исключительно осязанием. Он чувствовал, как она опускается на колени, медлит, застыв над ним, а потом начинает опускаться. И скоро поручик совершенно утратил способность что-то соображать — ее тело ходуном ходило над ним, медленно и упорно разгоняя ход того маятника, что ходуном ходил внутри его, и вот когда уже освобождение было совсем близко, он вдруг ощутил вспышку острой боли — и вовсе не там, где ожидал... Боль полыхнула в голове — точно в ней разорвался фугас.

— А черт! Китайская ваза! — на излете сознания прохрипел он и больше уже ничего не видел и не слышал.

Очнулся он только в предрассветных сумерках. Лицо его было залито кровью. На ковре валялись осколки старинного фарфора. Из раны на лбу все еще сочилась кровь.

Он с трудом поднялся, сел на полу и устался в массивный осколок китайской вазы. Поручик поймал себя на том, что не может оторвать взгляда от изображенного на нем пейзажа, дышащего предельным покоем... Акварельно жидкий голубоватый туман низко стелился над гладью залива, серпом срезанного в поросший курчавой зеленью холмистый берег, одинокая низкорослая сосенка вырастала на холке у каменистого утеса, словно встав на охрану царящего в пейзаже беззвучия.

Сергей Вениаминович перевел взгляд на бюро.

Кожаной папки с секретными документами, которую он оставил там в момент появления в кабинете с мадам Жаклин на руках, на месте не было.

— Так-то оно лучше, — прошептал он. — Однако вазу жалко. Но черт бы меня побрал совсем — что за женщина!

Спустя неделю, проведенную в госпитале, он с забинтованной головой предстал перед начальником картографического отдела полковником Кулагиным.

— Вы, поручик, отдаете себе отчет!. — брызгал слюной разъяренный полковник. — Секретные карты! План наступления! Да я вас — под трибунал!

Нисколько не обращая внимания на буйство Кулагина, Сергей Вениаминович уселся в кресло, достал из портсигара дешевую сигарету без фильтра марки «Прима», закурил — начальник просто потерял рад речи: полковник на дух не переносил запах дыма.

— Прекратите на меня орать, полковник, — устало заметил молодой офицер. — Я лишь формально служу под вашим началом. Да и звание у меня совсем иное. Ремизов, Павел Егорович, к вашим услугам, — коротко кивнул он и добавил: — Штабс-капитан контрразведки. Не удивляйтесь, милейший Иван Евграфович, в нашем департаменте люди быстро продвигаются по службе. А что до секретных карт с планом наступления... Они попали именно туда, куда должны были попасть. В германский генштаб.

— То есть как? — с трудом выдавил из себя Кулагин.

— А так. Эти планы — не более, чем дезинформация. Извините, полковник, но мы вынуждены были ввести вас в заблуждение. Год назад я прибыл под ваше начало в должности мелкой сошки. Это потому, что из вашего отдела мы засекли утечку секретных данных. Происходила она в салоне мадам Жаклин, где вертелось множество офицеров. Я был там принят и пользовался вниманием расположением хозяйки. Настолько, что она и решила выбрать меня для добывания плана наступления...

Ремизов усмехнулся, глубоко затянулся папиросой, выпустил струйку дыма.

— Актриса, истинная актриса! Как все разыграла! Сначала это мнимое попадание под лошадь. Потом амур в моей гостиной... Отменно исполнено. Кстати, ее настоящее имя — Вероника фон Оксенбах. Да-да, один из лучших германских агентов, начиная с десятого года... Но тут она прокололась.

Он взглядом указал на карту военных действий.

— Немцы, благодаря похищенным у меня фальшивым картам, стянули свои дивизии гораздо южнее того участка фронта, где наши войска, как вы знаете, в этот момент уже провалили жидкую оборону и крушат тылы противника.

Молодой штабс-капитан поморщился и дотронулся до забинтованного виска.

— Конечно, я рисковал головой... Но не жалею об этом, — он откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и, слабо улыбаясь, тихо пробормотал: — Ах, что за женщина, доложу я вам, что за женщина!

9.

Я ткнул пальцем в клавишу Esc, текст растворился в сером поле монитора и на его месте развернулись панели Norton Commander с перечнем файлов. Уже и на том спасибо, что поименовал их писака грамотно — text 02 и так далее. В конце списка висел какой-то небольшой по объему файллик vrez.

Конвертировав досовский текст из файла «02» в удобоваримый для Winword формат, я открыл файллик врезки.

По крыше нашей избушки шелестел дождь. Снизу доносились голоса — девушки от души выпивали и закусывали. Выщелкнув дискету из дисковод, я уставился на черный квадрат гибкого пластика с логотипом Verbatim.

— И что бы это все могло означать, а, Сергей Вениаминович?

Диск промолчал.

— И с кем это ты тут общаешься?

Фро возникла за моей спиной как всегда неожиданно — равно как и тот, кто огрел меня китайской вазой по затылку, она ступала бесшумно и мягко, как кошка, крадущаяся за мышью или зазевавшимся воробьем. Фро присела на стульчик справа от компьютерного стола, закинула ногу на ногу и склонила голову к плечу. Взгляд у нее был ясный, несмотря на приличную дозу выпитого «Амаретто».

— Илюшок, ты был у Абросимова? — Я кивнул, Фро подалась вперед, заглядывая мне в глаза. — Ну?

— Да все нормально, успокойся, — я кивком указал на дискету. — Вот. Оставил новые тексты на столе. Здесь пять штук. На двух других дисках еще десять. То есть наш писака наваял

целый цикл новелл в духе беллетристики прошлых эпох. Ну, ты ж понимаешь. Такое творческое напряжение... Устал. Сидит, наверное, где-нибудь на даче, отходит.

— У него нет дачи, — покачала головой Фро.

— Ну, у друзей на даче.

— У него нет друзей.

— Ну, значит, просто куда-нибудь свалил. Куда глаза глядят. Отдохнет, явится. Никуда не денется. Не переживай.

— Тексты как всегда? Стоящие?

— О, да. Я успел посмотреть только один из новых. Он про Первую мировую войну. В нем есть, правда, легкое ощущение вторичности. Некий перепев все того же Алексея Толстого.

— «Элеонора»? — со знанием дела осведомилась Фро и вставила в рот сигарету. — Это которая занималась любовью с конем?

— Элеонора — та вроде бы с медведем. Нет, тут другое. Был у советского графа такой рассказик про перепих в поезде. Там одна барышня-шпионка довела мужика до белого каления, а потом сунула его дымящийся от напряжения причиндал в одеколон. Он и вырубился. А она притырила у него какие-то важные документы.

Фро кивнула, прикурила, отошла к окну. Коротко затягиваясь, она выдыхала дым в щель приоткрытого окна и смотрела на дождь. Ее хрупкие детские лопатки рельефно очерчивались под тонким черным свитером — что-то в их рисунке было настолько же трогательное, насколько и беспомощное. Я едва удержался от того, чтобы встать, подойти, нежно обнять эту походящую на горящего ребенка женщину, ласково погладить по головке, обогреть и пожалеть.

И правильно сделал, что удержался. Потому что в таком случае я бы и сам размяк, и выложил бы все, чему был свидетелем в доме писаки.

— Что? — спросила, не оборачиваясь Фро. — Ты что-то сказал?

— Нет.

На самом деле сказать мне хотелось. Хотя бы о том, что писака, конечно, волен поселять в своих идиотских, растворенных в реалиях прошлых эпох, текстах самого себя и даже называться собственными именем. Кстати, автопортрет свой он прописал в истории про штабс-капитана разведки очень толково и достаточно жестко: на его месте я бы не стал упоминать про нелепую чаплинскую походку и сутулость. Равно как он волен в точности воссоздавать интерьер своего кабинета, расставляя строго по своим местам и купеческий диван, и напольные часы, и старорежимное бюро, и китайскую вазу и все прочие предметы, и заострять внимание на занятом подборе книжиц, разбредаящихся по полкам стеллажа... В то, что штабс-капитан любил почитать на досуге Мережковского и Марка Алданова, я еще готов поверить, но что касается Трифонова и Шукшина на книжной полке царского офицера, то тут, нашего Остапа, как говорится, понесло. Равно как и увлажнение обморочно холодных висков мадам Жаклин минералкой «Аква Минерале».

Абросимов, конечно, имел полное право населять свои рассказы знакомыми предметами и лицами, вроде своего собственного, но эти растворенные в сумраке прошлых времен текстике как-то странно отливались в дне сегодняшнем — китайской вазой я получил по кумполу не понарошку, а вполне реально.

Глава третья. Пурпурная тетрадь

1.

Взгляд шел снизу вверх очень медленно — вслед за движением налитых тяжестью верхних век — и потому я не сразу сообразил, что, собственно, я вижу на стене, напротив которой располагалась обширная Алкина койка. Покинув вчера редакцию после выпивона в честь моей зарплаты, мы в точности повторили маршрут, проделанный нами месяц назад после пьянки по случаю проводов Нины Сабаневич в декретный отпуск. Выпивали мы тогда, помнится, долго, упорно и мужественно, и к тому моменту, когда сквозь окна дома с мезонином потек рыжеватый свет медленно густевших сумерек, перешли ту пограничную черту, за которой благоразумию делать нечего. Потому я несколько не удивился, что и на финише той душевной попойки Алка попросила меня проводить ее до дома. В этом был смысл — на ногах она держалась нетвердо. Впрочем, я тоже и плохо помнил наш путь — расшатанный вагон полночного метро, Лефортово, холодные голубые змеи трамвайных путей, какой-то типично прусской наружности и выправки дом, серый, долговязый, с высокими стрельчатыми окнами лестничной клетки, стершимися мраморными ступенями и кованными перилами, третий этаж, квартира направо.

Словом, то сентябрьское утро было почти точной копией утра нынешнего, октябрьского, с той лишь разницей, что тогда стена напротив койки была пустой, теперь же в ней темнел некий плоский предмет, помещенный в узкую темную раму — по нему-то и восходил снизу вверх мой тяжелый с похмелья взгляд.

— Господи... Что это? — тихо спросил я и покосился на Алку, которая была распластана рядом поверх смятого одеяла и признаков жизни не подавала.

Я перевел взгляд на стену, приказав ему еще раз проделать путь снизу вверх.

В поле зрения возникла рыжеватая каменистая насыпь, из которой вырастал темный смолистый деревянный столб; двигаясь вверх, взгляд уперся в скрещенные ступни, кровоточащие в том месте, где их пробивал здоровенный гвоздь; некоторое время я пристально рассматривал худые изможденные лодыжки и колени, на которые ниспадал рваный край опоясывающего чресла рубища, потом двинул взгляд выше, к впалому животу, по которому вяло струилась из ран темная кровь, к шуплой груди, к раскинутым крестом рукам с вывернутыми наизнанку ладонями — шатким с похмелья умом я понимал, что в этом сумрачный утренний час взгляд мой погружен в хрестоматийный сюжет распятия Создателя, однако, вся штука в том, что у Иисуса отсутствовала голова.

Вместо Создателя на меня в упор взирал диснеевский Микки Маус. Месяц назад этого кошунственного постера в алкиной опочивальне еще не было. Я опять покосился направо. Алка по-прежнему лежала на животе, вывернув бледное лицо в мою сторону; уголок ее бледного, чуть распушенного рта и край подбородка был стянут глянцевым штрихом слюны.

К болтовне яйцеголовой публики о кошмарной упадке нравов на рубеже тысячелетий я относился с известной долей юмора, однако патологическое какое-то — если не сказать клиническое — безбожие Алки меня частенько ставило в тупик; глядя на кошунственный постер, размещенный, конечно же, с умыслом прямо напротив ложа греховной любви, я признавался себе, что это как раз тот случай.

В расхожую средневековую догму, согласно которой женщина является вместилищем греха, Алка в принципе не вписывалась; ну разве что ей случалось впадать в худший из грехов — уныние; случалось с ней такое не часто, но случалось; я во всяком случае всего раз был свидетелем того мутного тяжелого транса, в который она погрузилась недели две назад, когда не вышла на работу, и Фро попросила меня навестить ее: Илюшок, ты только поделикатней с ней, просто спокойно поговори о чем-нибудь постороннем, а еще лучше просто побудь с ней и помолчи.

Напутствуя меня, Фро напоследок прояснила ситуацию: эти Алкины провалы в состояние полнейшей физической и настроенческой анемии связаны с младшим ее братцем Васечкой; родители их погибли уже сравнительно давно в автомобильной катастрофе, Алка стала младшему братишке кем-то вроде матери, впрочем, как видно, мать из нее была не самая лучшая, потому что этот тинейджер с глуповатым лицом, с вечно перекошенным в вульгарной ухмылке ртом и злым блеском в пустых глупых глазах уже лет в двенадцать ухитрился загреметь в ментовскую по пьянке. Закидоны братишки, которому теперь уже сравнялось 16 лет, Алка переживала тяжело — последний транс длился дня три. Фро к ее чести, смотрела на Алкины прогулы сквозь пальцы.

— Ты был у Абросимова? — пробормотала Алка, еще пребывая, как мне показалось, в путах какого-то сновидения.

— Был...

К числу талантов этой безбожницы я бы отнес удивительную способность почти не мучиться от похмелья — она вскочила, и встала на колени меж моих широким циркулем раскиданных ног.

Врать Алке я смысла не видел, потому рассказал ей все.

Про незапертую дверь квартиры.

Про разбитую машину писаки.

Про выстрел, проделавший аккуратную дырочку в кухонном стекле.

Про явление мордоворота на «Гелендвагене».

Про окровавленные тряпки в тазу для грязного белья.

Про покушение на мою жизнь.

Финал моего рассказа застал ее на краю кровати. Сидя спиной ко мне, она тянулась за валявшимися на полу трусиками. Трусики выскользнули из ее пальцев в том момент, когда я завершил свой короткий отчет.

— Господи... — тихо выдохнула Алка. — Значит, Фро была права.

— В чем?

— Ну, в предчувствиях... Мы с ней говорили. Ей позавчера примерещилось, что Абросимова убили. — она помолчала. — А пулю на кухне ты нашел?

Я встал на колени, подполз к Алке, сел рядом и обнял ее.

— Ал, Ал... Ну какая пуля? Начать с того, что я ее не искал. У меня, знаешь ли, после удара по кумполу было не то настроение, чтобы производить в его доме обыск. И потом... Как ты себе это представляешь?

— Что?

— Ну что... Кто-то стреляет в Абросимова из окна противоположного дома, предположим... — я сделал пауза, Алка медленно кивнула. — Стреляет и вышибает ему мозги... — Рукой я уловил, как плечико ее дернулось. — Потом этот снайпер приходит к Абросимову домой... Тщательно моет кухню, отскребая пол от мозгов...

— Кончай, — спазматически икнула Алка. — А то меня сейчас вывернет.

— Хорошо. Этот киллер, значит, взваливает бездыханное тело писаки себе на плечо, выходит во двор, доходит до метро, едет с этой кровоточащей поклажей на плече до Щукино, а потом выкидывает труп в Москву-реку... Так что ли?

— М-да... — неопределенно отозвалась Алка.

— Да, — кивнул я и поцеловал ее в висок. — Это сомнительная версия. Но есть и другие.

Алка резким движением сбросила с плеча мою руку, встала, подобрала трусики, и, исполнив знакомое уже мне змеиное телодвижение, быстро натянула их. Резко повернувшись, она уперла руки в боки и деловым тоном поинтересовалась:

— А конкретней?

— Итак, первая версия, — начал я.

Эта гипотеза была привязана к старенькому Жигулю Абросимова с разбитой мордой. Он попал в аварию, это ясно. Если он протаранил на своих дряхлых «Жигулях» такого же качества рыдван — это еще ничего. Но если это была солидная машина, у писаки могли возникнуть серьезные проблемы. Причем прямо на дороге. Публика за рулем лимузинов у нас ездит чисто конкретная, потому возит в багажниках бейсбольные биты.

— Это первый вариант, — закончил я. — Теперь второй.

— Да, — мрачно кивнула Алка, надевая лифчик, и завела руки за спину, чтобы застегнуть его. — Выстрел по кухонному окну.

Я кивнул. Да. Эта версия, впрочем, выглядела не слишком определенно. Либо писака в самом деле попал в перекрестие прицела неведомого снайпера, но тот почему-то промахнулся. Либо аккуратная дырочка в кухонном стекле была результатом акции устрашения, более чем красноречивым намеком... Однако намеком — на что?

— Третье. Амбал на «Гелендвагене». Когда мы пересеклись с ним во дворе, настроен он был очень решительно. И шел он в квартиру Абросимова. Учитывая выдающиеся физические кондиции этого циклопа, свернуть Абросимову шею он мог одним легким кистевым движением.

Алка натянула свою вторую кожу — на этот раз в ее роли выступили черные кожаные брюки, сидевшие, как всегда плотно, как влитые и, выгнув спину, обратила взгляд через плечо к зеркалу туалетного трельяжа, проверяя, насколько эффектно тонкая кожа подчеркивает формы ее выдающегося зада.

— Квартирная кража? — спросила она, обращаясь к своей попе.

— Не думаю.

В самом деле, из дома как будто ничего не пропало. Конверт с гонораром валялся в верхнем ящике стола, сверху, на самом виду. Да ни один домовишка — если он конечно не был слеп на оба глаза — это конверт без внимания не оставил был.

— Хотя... — с сомнением протянул я.

— Вот-вот, — согласилась Алка. — Кто-то тебя все-таки огрел вазой по темечку... — Она натянула на себя сиреневый свитерок в пышным растянутым воротом и поморщилась. — Илюшок... Придется все рассказать Фро.

2.

«Деньги сами по себе счастья не приносят. Но очень успокаивают!»

Что верно, то верно — я сразу, еще в момент первого появления в редакции обратил внимание на этот плакат, выполненный Твигги на глянцевом листе фотопробы: белое поле, в котором кровоточит не слишком крупный красный шрифт, скромно и со вкусом. Общением с этой народной мудростью я привык начинать рабочий день, поскольку вставленный в рамку плакат висел на стене слева от моего рабочего стола.

— А где Фро? — зевнул я. — У нас вроде на одиннадцать планерка назначена.

От обсуждения этой проблемы меня отвлек телефонный звонок. Я выслушал собеседника и, прикрыв трубку ладонью, громко произнес:

— Девушки! Тут спрашивают... Что такое куннилингус?

Алка оторвалась от работы над простынкой и тупо глянула на меня.

— Илюшок... Ты чего?

Недоумение ее объяснялось тем, что я как редактор уже сотню раз сталкивался с толкованием этого термина в наших текстах, причем, во всех его живописных подробностях.

— Это, Илюшок, такая мутька... — отечески тоном пояснила Твигги и принялась в типичных для нее грубоватых выражениях описывать механику процесса.

Я со вздохом облегчения кивнул и передал Твигги трубку.

— Ну, раз ты так все хорошо знаешь про это дело... Вот и объясни это Софье Андреевне. Она завопросила это словцо в корректуре.

Возникла напряженная пауза.

Софья Андреевна была нашим новым корректором. Милейшая женщина лет семидесяти, всю свою жизнь проработавшая в крупном издательстве, выпускавшем современную прозу. Ее имя стояло в выходных данных книг Астафьева, Абрамова, Трифонова, Юрия Козакова, Анатолия Кима, Шукшина, Битова, Искандера, Юрия Лихоносова, Василия Белова, Нагибина, Тендрякова и многих других почтенных авторов. Этой осенью ее — как глубокую пенсионерку — сократили, точнее, просто выкинули на улицу, и она нашла работу у нас. Всякий раз, слыша в трубке ее тихий голос, я испытывал муки совести, потому что очень живо себе представлял, как эта интеллигентейшая бабулька сидит за рабочим столом с кипой корректорских распечаток и ломает слезящиеся от горя и тоски глаза о наши тексты.

Похожие чувства, скорее всего, испытывали и мои коллеги. Таня Ларина принялась тереть охвостье своей косы, Алка увела взгляд к окну, Твигги хмыкнула и покачала головой.

— Софья Андреевна... — тихо сказал я в трубку. — Просто снимите вопрос. Да, под мою ответственность. Да. Я отвечаю, — положив трубку, я обратился к Алке: — Может быть, есть смысл звякнуть Фро на сотовый? Уж почти двенадцать.

Алка кивнула, набрала номер, спросила у Фро, не случилось ли чего, покивала и подвела итог:

— Она у Захара застряла. С самого утра сидит, разруливает все это дерьмо. Скоро будет. Сказала, начинать без нее.

Оставалось только пожалеть бедняжку Фро: кончина почты и засада с рассылкой тиража, взлет цен на бумагу и типографские услуги, откат к бартерным схемам, пышный расцвет черного нала, необходимость рассчитываться со всяким встречным-поперечным исключительно в теперешней российской валюте, то есть в долларах — все это была ее головная боль, тем более мучительная, что человек, с которым она была вынуждена грести все это дерьмо, был ее мужем, пусть и бывшим.

Насколько я знаю, Захар в свое время заколотил кучу денег на «горячей линии», выступив в роли одного из пионеров отечественного «секса по телефону»; что уж привело преподавателя географии в этот скользкий бизнес, сказать не берусь, Фро на этот счет предпочитала не распространяться. Я знал только, что они вместе учились на географическом факультете в МГУ, где и сошлись, поженившись сразу после окончания университета. Так или иначе, Захар на финише перестройки уже всю греб денюгу лопатой, а когда нагреб ее столько, что уже и некуда было девать, резко сменил, так сказать, ориентацию, основал рекламное агентство и издательство, выпускавшее глянцевые журналы про мебель, недвижимость, автомобили, женскую косметику, дачные сады и огороды, путешествия по свету, — работать лопатой на этой новой ниве приходилось ничуть не меньше, чем прежде. Каким образом в этот холдинг затесался наш журнальчик, никто из нас не знал. Должно быть, Захар ностальгировал по своему прежнему бизнесу, и вот решил облечь сладкие песнопения своих телефонных сирен в глянец журнальных полос. Он был старше Фро года на три — поступил в университет после армии. Что уж за кошка между ними пробежала — кто знает. Алка как-то обмолвилась между делом, что Захар подарил наш журнальчик бывшей жене в качестве отступного приложения к квартире, даче, машине и приличному счету в банке. Алка — а она трудилась пропагандистом основного инстинкта с момент основания нашего издания — говорила, что поначалу Фро пришла в ужас от содержательной стороны этого презента, однако быстро освоилась и повела дело твердой рукой: тиражи наши росли и росли.

— Ну ладно, поехали! — хлопнула в ладоши Алка и посмотрела на меня. — Что там у нас по номеру?

Я начал отчитываться по материалам закрепленных за мной рубрик с мелочевки, представлявшей собой крошку из разного рода заметок, так или иначе развивавших тему основ-

ного инстинкта — это был хитрый ход, потому что в заглавнике у меня всегда было нечто, что согрело бы безбожную душу нашего ответственного секретаря.

— Итак, — начал я. — Один католический поп из Испании...

— Так-так-так! — немедленно воодушевилась Алка.

Я усмехнулся. Не знаю уж, чем Алке досадили попы — причем вне зависимости от того, какую доктрину они исповедовали — но что-то в ее голове явно переключилось в отношении служителей культа.

— Этот поп, пастор небольшого прихода на юге страны, был большим поклонником женского пола. Как установили компетентные органы, католический батюшка стоял во главе преступной бригады, наладившей экспорт в Испанию молоденьких девчонок из Африки, в частности из Нигерии.

— Годится!! — кивнула Алка. — Годится! Что еще? — она уставилась в простынку. — Ну, с прозой у нас все ясно. Это новые рассказы Абрисимова как раз то, что нужно. Говорят, народ расхватывает «Азазель» как горячие пирожки. Мы тут попадаем в жилу.

— У нас еще полно в загоне его переводной так сказать прозы! — подал голос я, шаря по каталогу загона. — Пятюк замечательных историй из французской, немецкой, шведской и так далее жизни.

— Да, — согласилась Алка. — Выпустим их, а потом уж запустим нашу отечественную старину, — она помолчала, делая пометки в «простынке». — Все, проехали это! Что у нас есть в рубрике «Классика»?

Я понял, что наступил тяжелый момент и покосился на Пушкинскую деву: последний материал для этой рубрики подкинула мне она, притащив в редакцию один из последних томов большого собрания сочинений и, густо покраснев, назвала нужную страницу.

Насколько я знаю, Таня прежде работала в небольшом издательстве. Кривая дорожка, приведшая Таню в наш журнальчик, выглядела примерно так же как та, которой прошла наш корректор Софья Андреевна. Я всегда испытывал чувство неловкости, когда Алка, Фро и Твигги при ней пускались в обсуждение деталей статьи, место которой было скорее в учебнике по гинекологии, и горячо спорили по поводу, скажем, стимуляции заветной «Точки Жди». Бедная Танюша, становившаяся невольным слушателем этих полемик, густо краснела. Я все-рез подозревал, что в свои тридцать с небольшим лет она оставалась девственницей.

— Так что там по «Классике»? — напомнила о себе Алка.

Не знаю, кому год назад пришло в голову завести в нашем журнальчике эту идиотскую рубрику, которую вела Нина Сабаневич. Изучив годовую подшивку, я понял, что Нина дочиста выскребла всю «Лолиту», просеяла через мелкое сито весь «Тропик Рака», выпотрошила все пригодные к делу внутренности из «Любовника леди Чаттерлей», оскотила своим редакторским скальпелем всего Мопассана, разъяла на молекулы «Мантиссу» Фаулза и перебрала косточки у всех прочих достойных книг, авторы которых укладывали своих героев в постель. Наконец мы пришли к тому, что этот колодец иссяк.

— Это тупик, — подвел я итог. — В мировой литературе не осталось ничего, что могло бы лечь лыком в эту строку... Ну разве что можно покопаться в переписке. Можно, на худой конец, что-нибудь самостоятельно слабая, это не проблема. Страничку текста я запросто слабаю, надо только решить, кого именно мы отдадим на заклание. Может, Фитцджеральда? Или кого-то из латинов — Маркеса? А может быть нам замахнуться на Чарльза нашего, так сказать, Диккенса?

— Ты б еще на священное писание замахнулся... — хохотнула Алка. — Так что там ты говорил про переписку?

Я встал со своего места и положил ей на стол распечатку.

«Когда из любопытства употребляешь японку, то начинаешь понимать Скальковского, который, говорят, снялся на одной карточке с какой-то японской б...ю. Комнатка у японки

чистенькая, азиатски-сентиментальная, уставленная мелкими вещичками, ни тазов, ни каучуков, ни генеральских портретов. Постель широкая, с одной небольшой подушкой. На подушку ложитесь вы, а японка, чтобы не испортить себе прическу, кладет голову на деревянную подставку. Затылок ложится на вогнутую часть.

Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит и на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо и при этом, плохо понимая русский язык, указывает пальцем и даже берет в руки и при этом не ломается и не жеманится, как русские. И все это время смеется и сыплет звуком «тц». В деле выказывает мастерство изумительное, так что вам кажется, что вы не употребляете ее, а участвуете в верховой езде высшей школы. Кончая, японка тащит зубами из рукава листок хлопчатой бумаги, ловит вас за «мальчика» и неожиданно для вас производит обтирание, причем бумага щекочет живот. И все это кокетливо, смеясь, напевая, и с «тц»...

— Ну... Нормально! — кивнула Алка, отрываясь от текста. — А кто из наших великих любил употреблять японок?

— Там в конце распечатки... Мелким шрифтом. Ссылка на собрание сочинений.

— Ага, — подслеповато сощурилась Алка, вчитываясь в текст. — Письмо Суворину от 28 июня 1890 года... — рот ее приоткрылся и застыл; наконец Алка медленно моргнув, глянула на меня и утробным каким-то, проглоченным голосом произнесла: — Илья. Ты что — смерти моей хочешь?

Она назвала меня Илья, ничего хорошего это не сулило; по опыту я знал, что такое вот официальное обращение есть преамбула к вспышке гнева, однако в этот грех Алка почему-то не впала, а продолжала смотреть на меня в упор, не мигая; в ее водянистых и лишенных как будто сколько-нибудь внятного выражения глазах я, тем не менее, прочел приговор: да, смерть наша будет долгой и мучительной.

Насколько мне известно, матушка Фро всю жизнь проработала школьной учительницей литературы, женщиной она была милейшей и глубоко влюбленной в свой предмет — дочка эту влюбленность в себя впитала, наверное, с материнским молоком, однако отчего Фро из всего многообразия столпов родной словесности выбрала в качестве идола именно позднего классика с улыбочивым и ироничным взглядом, оставалось загадкой. В этом ее настолько же стоическом насколько и бездумном идолопоклонничестве крылась какая-то сокровенная, сакральная тайна. Кстати, как оказалось, наш старый добрый домик с мезонином был выбран Фро в качестве офисного пристанища как будто бы неспроста, а с оглядкой на идола. Как стало понятно из рассказов Алки, полтора года назад Фро всерьез озаботилась поисками нового офиса для редакции, которая прежде сидела в здании холдинга, которым командовал Захар; то ли она не хотелашний раз сталкиваться в коридорах с бывшим мужем и взирать на его амурные похождения (а он не только внешне походил на героев абросимовских творений, и но — по слухам — и ментально, то есть был законченный ходок), то ли была на то какая-то еще причина — не суть важно. Словом, на пару с Алкой они исколесили пол Москвы, подыскивая офис, случайно завернули в наш тихий переулок и вопрос с офисом был закрыт раз и навсегда; должно быть Фро в тот момент, как и мне месяц назад, показалось, что наша избушка вывалилась на московскую улочку прямо из знаменитого рассказа классика.

— Ну знаешь... Можно ведь потолковать с Фро. Ну объяснить ей, что Антон Палыч был, во-первых, доктором, стало быть человеком в меру циничным. А во-вторых, он был нормальный живой человек, которому ничто человеческое — в том числе и употребление японок — не чуждо.

— И думать забудь! — дала, наконец, Алка волю медленно вскипавшему в ней гневу и принялась рвать на мелкие кусочки распечатку с таким азартом, будто хотела разъять лист с письмом Чехова Суворину на молекулы. — Да, кстати. Ты что-нибудь придумал... Как мы представим автора последних историй Абросимова?

— Нет... — я загрузил файл с историей про китайскую вазу и вспомнил, что на дискете был еще один файл, поименованный как wtez; открыв его тупо уставился в монитор.

3.

Пурпурная тетрадь

букет новелл начала века

предисловие переводчика

Русский путешественник, оказавшись в Париже, никак знаменитый Холм не минует — уже хотя бы потому, что его тянет подышать этим неповторимым воздухом Монмартра, в котором, кажется, еще можно уловить запахи прошлых времен: древесного угля, абсента и дешевой косметики, какой гримируются танцовщицы из знаменитых кабаре... Но время неумолимо, давно нет на Холме святая святых здешней элиты, знаменитого «клоповника» на площади Эмиль-Гудо под названием «Бато-Лавуар», состоящего из одних чердаков и подвалов, нет веселого кабака «Ша-Нуар», однако дух их по-прежнему витает на этих улочках на той же Лепик, или Норвен, или улице Трех Братьев — теперь тут фланируют толпы туристов и покупают на площади Тертр у уличных художников картинку с пейзажами и обнаженной натурой. Тертр — это здешний Арбат. Впрочем, нищих художников осталось тут немного — слишком высоки цены на жилье. Слишком суетно стало, слишком много зевак со всего света, которые, отведав винца в здешних погребках, спускаются по узенькой Жермен Пилон в сердце порока, к Пигаль.

И, кажется, все бродят здесь тени тех, кто составил Холму славу — Тулуза-Лотрека, Винсента Ван-Гога, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Амадео Модильяни, Эдит Пиаф, Гийома Аполлинера.

На одну из этих теней мне и пришлось наткнуться прошлым летом, когда я по переводческим делам был в Париже, забрел по привычке на Холм и устроился в одной из открытых кафешек по веселенькой расцветки тентом, заказав себе чашку кофе и надумав закурить сигарету. Ан, закурить не пришлось, зажигалка отплюнулась острой искрой, но огня не родила, сдохла.

По счастью мимо брела, вертя головами, группа туристов, в которой я поговору да и внешности опознал наших — окликнул одного из курильщиков, дымивших сигаретой, стрельнул огоньку. Поболтали немного да и разошлись в разные стороны.

Усевшись за свой столик, я заметил, что сценка эта не прошла мимо внимания одной из посетительниц кафе. Это была лет пятидесяти женщина, миловидная, ухоженная, сидела она наискосок от меня, попивая минералку и все нерешительно поглядывала в мою сторону. Публика на Монмартре, в общем, не чванливая, простая в общении, потому я осведомился у мадам, могу ли чем-то быть ей полезен, и она, сдержанно улыбнувшись, пожала плечами.

— Вы разговаривали сейчас с туристами... — сказала она. — Я могу ошибаться, конечно, но — не по-русски ли?

Я кивнул — да.

— А отчего это вас, мадам, заинтересовало?

Оказалось вот что. Мадам зовут Изабель Мишо, она здешняя жительница, всю жизнь провела на Холме, родилась тут, росла, теперь владеет небольшой гостиничкой. Заведение ей досталось в наследство от матушки, которая здесь когда-то давно держала что-то вроде скромного пансиона для стесненной в средствах публики. Так вот, один из квартировавших в том пансионе людей был из России. Недавно Изабель разбирала старый материн сундук и наткнулась там на пару тетрадок, которые — это она помнила из рассказов матери — принадлежали русскому. Если месье это интересно, он на них может взглянуть — гостиница тут неподалеку, в пяти минутах ходьбы.

Месье сделалось интересно, мы расплатились и пошли к Изабель в гости.

Так мне в руки попали эти тетради.

Одна из них, в потертом коленкоровом переплете, содержала дневник, в общем, типичный для русского эмигранта. Из не слишком аккуратных, торопливых записей, заносимых в тетрадку крайне нерегулярно, можно было составить весьма поверхностное представление об авторе и его биографии.

Иван Христофорович Харлампиев, из мелкопоместных дворян Орловской губернии, воспитанник кадетского корпуса, офицер, участник первой мировой войны, за доблесть в боях на Юго-Западной фронте удостоен Георгия. Затем — Добровольческая армия, отступление, откат вместе с множеством белых офицеров в Югославию, затем — Париж, безденежье, жизнь впроголодь и, наконец, удача — работа водителем парижского таксомотора. Судьба, в общем, для офицера типичная. Записи в дневнике обрывались 1932-м годом.

Как сложилась жизнь постояльца матушкиного пансионата в дальнейшем, Изабель не знала.

Вторая тетрадка была переплетена в пурпурный сафьян.

Открыв ее и пробежав взглядом пару страниц, я тихо ахнул.

Все тексты, что лежали под пурпурным сафьяновым переплетом, были на французском. Но даже беглого взгляда на пожелтевшие от времени тетрадные листы было достаточно, что бы распознать в них нечто напоминающее русскую беллетристику начала прошлого века. Зачем Ивану Христофоровичу понадобилось наряжать свои типично русские новеллы во французские кринолины — Бог его знает. Хотя... Даже беглого взгляда на них хватило, чтобы предположить, что сподвигло автора на перевод своих литературных опытов.

Перспективы их публикации в русской эмигрантской прессе были весьма призрачны. Тогдашняя среда русских парижан вольностью нравов не отличалась, так что беллетристические опыты Ивана Христофоровича, скорее всего, изначально были обречены на провал: автор обнаруживал себя уж очень внимательным читателем известной своей обнаженной откровенностью «Бани» Алексея Толстого и других произведений такого пикантного свойства. По всей видимости, автор имел намерение попытаться в каком-либо либеральном французском издательстве, однако, судя по библиографическим справочникам той поры, — без особого успеха.

К несчастью, русских оригиналов этих новелл мне обнаружить так и не удалось. Так что мы предлагаем их вам в переводе с французского».

Вполне себе бредовый ход с переводом русских новелл на французский и обратно меня разве что позабавил, но никак не удивил. Я было приготовился скинуть вторую часть текста в «помойку», но руку, потянувшийся к мышке, попридержал: пусть Фро с этим разбирается.

Она оказалось легкой на помине. Вошла, с мрачным видом молча прошествовав к своему столу, уселась на его край и, поболтав ногами, кивнула Алке:

— Ну как тут у вас? Есть проблемы по номеру?

Алка метнула в мою сторону косой вопросительный взгляд, я в ответ красноречиво вздохнул и пожал плечами: чему быть, того не миновать.

— Фро... — деликатным тоном произнесла Алка. — Есть проблема. На два слова.

Они вышли. Судя по доносившемуся до нас бульканью воды в быстро разогревающемся электрочайнике, устроились они на кухне. Спустя какое-то время раздался печальный звон разлетающейся от удара о пол чашки — должно быть чашка выскользнула из онемевшей руки Фро — и в следующий момент, как мне померещилось, в комнату впорхнула черная галка. В стремительном вихревом пролете между столами Фро — в этом ее коротеньком пальтеце из тонкой черной шерсти, фасоном напоминавшим индейское пончо, в тесных черных джинсиках и черных же кроссовках — и в самом деле походила на черную галку на взлете. Покружив по комнате, она остановилась у моего стола и тоном не терпящим возражений, произнесла:

— Илюша. Ты пойдешь со мной.

— Как скажешь... Я сейчас. Всего минутка. Только зубы почищу.

Зубную щетку я хранил в редакции, точнее, в маленькой комнатухе, соседствовавшей с кухней и располагавшей всем необходимым, чтобы мирно провести остаток ночи. Прежде это узкий, пеналом вытянутый чуланчик без окон использовался по назначению, то есть как склад всякой офисной всячины; с какой целью новые обитатели дома с мезонином в лице моих коллег устроили там нечто спальный апартамент, мне неизвестно, но и на том спасибо, что в чуланчик вполне уютно вписывался средних размеров диванчик, возле которого на приземистой прикроватной тумбочке стояла ночная лампа; отдельная дверь из кухни вела в ванно-туалетную комнату, располагавшую помимо унитаза еще и тесной душевой кабинкой. Собственно это и все, что мне было надо, потому что весь последний месяц я почти не ночевал дома на Полянке.

Ночи я проводил у компьютера, шаря по всемирной паутине.

Мои коллеги, кажется, не вполне отдавали себе отчет в том, каким сокровищем — подключенный к Интернету комп! — они располагали; ни Фро, ни Алка, ни тем более Пушкинская дева в сеть не лазали, я сомневаюсь даже, что они имели хоть какое-то представление о таких понятиях, как портал или сайт; изредка ширила в И-нете разве что Твигги, но она рыскала исключительно по ресурсам, располагавшим картинками. Что до меня, то я просто не мог отлипнуть от компьютера, возле которого коротал почти все ночи и ложился вздремнуть лишь в предзвездных сумерках; ничего достойного внимания в российском секторе всемирной паутины, этом унылым пространстве пустоты (если не брать в расчет газету.ру и яндекс) не было, зато на продвинутых западных англоязычных сайтах можно было много чего интересного отыскать — там, кстати, я черпал львиную долю всякой забавной информации, из которой и приготавливал пикантные блюда для нашего читателя.

Фро знала про мои ночные бдения, и ничего против не имела. Тем более что, толк из этих бдений был: быстро освоив тематическую политику нашего журнала, я стал сам сочинять тексты, и через пару недель вполне заменил ушедшую в декрет редакторшу.

6.

Околоток, к которому мы держали путь, располагался в десяти минутах ходьбы от дома Абросимова. Квартировал он в старом, переживавшем летнюю линьку, трехэтажном доме, отпрянувшем от прямой линии проезжей части в плавный изгиб крохотного дворика, некогда представлявшего собой, как видно, пространство аккуратной городской усадьбы с ее неизбежной кованой оградой, опиравшейся на пару массивных каменных воротных тумб, основательным, баскетбольного роста забором, за которым штормила густая сирень, накатывая душистыми волнами на ведущую к парадному подъезду дорожку. Теперь эта лагуна в жерле переулка, сонно и неторопливо отползавшего вглубь квартала, была придавлена обширными серым пятном влажного асфальта — с самого утра зарядил мелкий дождь, если конечно за дождь можно было принять висевшую в туманном сыром воздухе водяную пыль.

О цели нашего путешествия я узнал сразу, едва мы с Фро погрузились в ее «Фольксваген Гольф» и погнали в сторону района, в котором обитал писака: Илюша, надо срочно подавать заявления в милицию, человек пропал, ну как же ты не понимаешь!

Я, конечно, все понимал, но толку в этой затее большого не видел — наши менты заняты крышеванием ночных бабочек или, на крайний случай, обиранием бабушек, торгующих сигаретами около станций метро.

Я потянул на себя тяжелую дверь, вошел, и поморщился, вдохнув кисловатый воздух казенного дома. Мы оказались в сером коридоре, придавленном низким сводчатым потолком; за прорубленным в правой стене окошком, забранном в намордник стальной решетки, открывался вид на столько же сумрачное помещение, в стесненности которого, в покато сводом низкого, давящего потолка угадывалось смутное сходство с дореволюционным околоточным казематом; не исключено, что в этом доме когда-то располагалась вовсе не жилище какого-то коммерсанта, а именно околоток, куда краснорозжие жандармы, брэнча своими полицейскими

«селедками», крепко ставя в каменный пол ноги в бутылках галифе, сволакивала за шиворот слободских злодеев. В те времена, наверное, самым страшным злодеянием, заставлявшим округу неделями тревожно гудеть, представлялось хищение пропившимся мещанином штуки добротного сукна из местной галантерейной лавки.

Дежурил на входе вполне вписывавшийся в антураж майор, по виду форменный жандарм и сатрап, коренастый, большеголовый, не имевший шеи малый с угрюмым выражением на скучном лице. Он поднял на нас водянистые бесцветные глаза и спросил:

— Куда? По какому вопросу?

Мы объяснили: человек пропал.

— Ну и что? — сонно спросил он.

Я не нашелся, что ответить и, покачав головой, отступил в сторону, прислонился к стене и с интересом наблюдал за тем, как Фро тонким и удивительно чистым, напоминающим слабый звон серебряного колокольчика, голосом поет свою зазывную песнь совратительницы — в смысл произносимых в сторону слухового окошка слов я не вникал, потому что целиком отдался наслаждению мелодией ее голоса, способной растопить даже самую заскорузлую, стеровосую мужскую душу, и душу этого держиморды с розовым, «от и до» вылепленным из сальной китайской баночной ветчины лицом в том числе.

— Да вы не волнуйтесь, гражданочка, не волнуйтесь, пятый кабинет. Там вас капитан Краснов примет. Вас проводить?

Нет-нет, спасибо, не хотим отрывать вас от дел, мы сами найдем — свернув направо, мы прошли длинным коридором, нашли нужную дверь, и против ожидания оказались не в очередном каземате, а довольно просторном кабинете, шагнув в который, я споткнулся на ровном месте и затем, тупо глядя на сидевшего за канцелярским столом у окна человек лет около тридцати, опрятного, со свежим, гладко выбритым лицом, захваченный визитом посторонних в момент интимного священнодействия: напрягши и слегка опустив рот, он резким движением двух сведенных в колечко пальцев выдергивал волосок из носа.

Человек вздрогнул, испытав короткий булавочный укол боли в напряженной ноздре, повертел кистью, исследуя черную иглу щетинки, коротким и плотным выдохом сдул ее из пальцев и только после этого глянул на нас с Фро.

— Мы попали, — шепнул я Фро на ухо.

Это был тот мент, что присматривал за народным бунтом возле банка на Селезневке, капитан, если я верно помнил. Теперь он был в штатском.

— Что у вас? — спросил Краснов, пристально глядя на меня, и я испустил вздох облегчения: похоже, он меня не узнавал.

Фро защebetала. Она скороговоркой, с напором щебетала добрых минут пять, мент, то и дело вздыхал, открывал было рот, чтобы вставить словечко, но Фро всякий раз умело гасила эти попытки — нет-нет, вы дослушайте, пожалуйста, до конца! — и продолжала убеждать мента в том, что необходимо вот прямо сейчас, немедленно мобилизовать московскую милицию на поиски Абросимова.

— Все? — утомленным тоном поинтересовался Краснов, когда стихли последние аккорды с блеском исполненной Фро арии. — Теперь послушайте меня.

Он монотонно бубнил себе под нос, просвещая нас на предмет того, что наш писака, во-первых, возможно, загулял, и скорее всего, очнувшись от долгого запоя, объявится; что, не исключено, он решил развеяться и мотанул куда-нибудь на юг погреть косточки на берегу теплого синего моря — и это, во-вторых; засим следовали вполне убедительные в-третьих, четвертых и десятых, и тогда Фро решила пустить в ход свой последний убойный аргумент, сообщив о пулевом отверстии в оконном стекле абросимовской кухни.

Краснов прищурился, что-то соображая, спросил домашний адрес Абросимова, а выслушав мое сообщение на этот счет, мрачно выдохнул:

— Об этом ведь во всех газетах писали...

Фро вопросительно уставилась на меня — обзор текущих происшествий входил в мои обязанности.

— Да-да, Фро, я совсем забыл. Извини.

Об этом случае, в самом деле, писали в начале недели, речь шла о каком-то вполне благополучном предпринимателе, с говорящей фамилией Добронравов, который в августе потерял все, что нажил за годы благоденствия, зато приобрел множество долгов — кредиты он брал, разумеется, у братвы, как и большинство мелких предпринимателей, на которых расположение солидных банков не распространялось. И вот неделю назад он выпил стакан водки, отравил жену и двух маленьких дочек каким-то там цианидом, затем водку допил, достал невесть откуда взявшийся в его доме пистолет Макарова, открыл окно и начал слепо палить в белый свет, а последнюю пулю пустил себе в висок, предварительно оставив записку, в которой сообщал, что и его, и семью его все равно убьют за долги, так пусть уж лучше будет так... Жил он в том самом дворике, где обитал Абросимов, в доме напротив — должно быть одна из тех шальных пуль и залетела в кухню писаки.

— Ладно, — вздохнул мент, извлек из ящика стола чистый лист бумаги, подтолкнул его по мутноватому лаку столешницы в сторону Фро — заявление пишите, с изложением всех обстоятельств, и, кстати, нет ли у вас его фотографии?

Да-да, ну разумеется, — Фро извлекла из своей сумочки черно-белую карточку.

— Но это снято лет наверное десять назад, — добавила Фро, кладя фотографию на столу.

Откуда у Фро взялась эта карточка, я себе не представлял. Вглядываясь в его жестко очерченное лицо, я поймал себя на том, что за десять лет он почти не изменился: не располнел и не похудел, не осунулся и не поднакопил морщин — застыл во времени, вмерз в него — вот разве что уголки плотно сомкнутого рта за прошедшие годы слегка опустились, разбавив неотчетливое выражение лица привкусом то ли непреходящей скорби, то ли мрачной сосредоточенности.

— Ладно, — сказал мент, забирая фотографию, — пусть будет до кучи, — он помолчал и добавил: — А вы знаете, сколько в нашем городе потеряшек?

— Что? — изумленно переспросила Фро. — Потеряшек?

Да-да, потеряшек, извините, профессиональный жаргон, так называют тех, кто пропадает без вести, теряется, уходит из дома и не возвращается, вот просто растворяется в дымном воздухе города, не оставляя ни единого следа.

— Десятки тысяч в год, — ответил на свой вопрос мент.

— Господи! — скорбно выдохнула Фро, придавив выдох ладошкой, как видно в этот момент ее по-настоящему коснулось мрачное предчувствие того, что Абросимов разделили судьбу всех этих тысяч и тысяч потеряшек, что растворились без следа в туманном воздухе города, обратившись в костровый дым.

— А чем он, кстати, по жизни занимается? — спросил Краснов, уводя взгляд от впавшей в легкий ступор Фро в мою сторону, и мне пришлось некоторое время поразмыслить над ответом.

— По жизни... — неопределенно протянул я. — По жизни он сказочник. Ну да. Сочиняет сказки. Для взрослых.

— Опасная профессия, — после паузы отозвался Краснов серьезным, официальным тоном.

Я взял все еще пребывающую в состоянии лунатического транса Фро под локоток и сопровождал ее до двери.

— Эй, молодой человек! — догнал меня его окрик в тот момент, когда я уже вышагивал за порог; я обернулся и встретился с ним взглядом; он грустно усмехнулся. — А знаете... Вы напрасно испугались, увидев меня. Я тогда, месяц назад, был у банка не по службе. В том банке у моей жены лежали деньги. И у матери. И у сестры.

— Сняв принародно штаны, мы вовсе не хотели оскорблять общественную нравственность, — сказал я. — У нас просто не было другого выхода. Что нам еще остается?

— А конкретней? — спросил он.

— Что нам еще остается, кроме того, чтобы показать всем этим сукам наши голые задницы?

— Это точно! — с улыбкой кивнул Краснов.

На обратном пути, проходя мимо зарешеченного окна, я споткнулся на ровном месте: на месте майора, исполнявшего роль околоточного привратника, красовалась роскошная блондинка, она стояла на коленях в пене брызг низвергающегося сверху водопада, пухлый ее и невыносимо вульгарный рот был томно приоткрыт, волосы стекали по плечам, прикрывая полные груди с обширными темным арелами вокруг сосков, взгляд неестественной голубых (контактные линзы, скорее всего) глаз был настолько откровенен и пошл, что меня чуть не стошнило.

Майор, видимо, был поклонником нашего журнальчика. Фро снисходительно улыбнулась, кивком приглашая следовать за ней, однако я так и остался стоять напротив зарешеченного окна, тупо глядя на то, как в волосах обложечной телки трепещут, тускло мерцая, капли воды.

— Что с тобой? — шепотом спросила Фро. — Пойдем.

— Ничего, — соврал я. — Иди... Я сейчас. Догоню.

— Хорошо. Я там покурю пока...

Фро ушла, а я столбом стоял, прикрыв глаза и испытывая то состояние, которое классик как-то мимоходом и с легкостью гения оценил как «внезапный сквозняк в желудке» — вот уж умри, а лучше не напишешь! — сквозняк этот нарастал, потому что я будто наяву увидел события двухдневной давности: черный «Гелендваген» едва не сбивает меня с ног во дворике Абросимова, из него вываливается циклоп в кожаной куртке и, осведомившись у меня на предмет квартиры номер 5, ломится в подъезд.

Была деталь, которую я упустил из вида.

Из кармана его куртки торчал наш журнальчик — тот самый, что читал теперь майор.

Я развернулся и двинулся по коридору в обратном направлении.

Краснов встретил меня на удивление приветливым взглядом, должно быть он видел во мне собрата по несчастью, у которого в том подлом банке на Селезневке тоже сгорели все сбережения.

— Капитан... — сказал я, присаживаясь на стол возле его стола. — Просьба есть. Как это в вашей среде принято выражаться? Пробить?

— Ну, — с доброй усмешкой кивнул он. — А что пробить? Адрес? Номер машины?

— Машина.

Я запомнил номерной знак «Гелендвагена» — должно быть потому, что в его сердцевине зловеще чернело число дьявола — три шестерки.

— Это как-то поможет искать твоего сочинителя сказок для взрослых?

Я кивнул и рассказал про амбала на «Гелендвагене».

Он попросил меня подождать в коридоре.

Ждал я минут десять, сидя не жестком казенном стуле и тупо глядя в истершийся линолеум пола. Наконец он появился в конце коридора, по выражению его лица я понял, что хороших вестей ждать не приходится.

Так оно и оказалось.

Простившись с капитаном, я выкатился из околотка.

Фро за время моего отсутствия успела высмолить сигарет пять не меньше — во всяком случае, в салоне ее «Гольфа» топор можно было вешать.

— Ты не помнишь... — спросил я, усаживаясь на переднее сидение. — Как выразился этот мент, когда я сказал, что Абросимов сочиняет сказки для взрослых?

Фро кончиком указательного пальца ткнула в перемычку оправы, поправляя очки.

— Опасная профессия... А что?

— Пока это только догадки. Ты помнишь рассказец Абросимова, который напечатан в том номере, который читал майор при входе в отделение?

— Ну да, конечно, — быстро отозвалась Фро. — «Бордюр» называется, так ведь?

Так. Историйка не бог весть какая. Писака рассказывал ее от лица персонажа, который заявился к своей любовнице Зойке не в самый удачный момент, поскольку их пылкое общение в постели было оборвано появлением во дворе «Геленгдагена», принадлежавшее ее мужу. Герою ничего другого не оставалось, как только метнуться в чем мама его родила к окну, выбраться наружу и устроиться на декоративном бордюре, опоясывавшем дом на уровне третьего этажа. Так бы бедняга и замерз насмерть на лютom морозе, если бы соседнее окно не открылось и чьи-то заботливые руки не втащили почти окоченевшего парня в тепло и уют соседней квартиры, где, как оказалось, обитала проститутка по имени Таня. Таня вернула к жизни несчастного теплом своего тела — как это, по слухам, делали женщины с легчиками сбитых во время войны самолетов, которых вытаскивали из ледяных вод Балтики — ну и мужик в благодарность в эту проститутку Таню пылко влюбился. Когда спустя какое-то время они кувыркались с Таней в постели, мужик решил вдруг решил покурить, открыл окно и обнаружил на карнизе очередного заоченевшего любовника Зойки. Втащив этот хладный полуруп в дом, парочка отогрела его теплом своих тел, а потом у них случился бурный, со всеми живописными подробностями «ля мур де труа». Слабенькая, сказать по правде, история.

— Ой, Илюша, — ласково улыбнулась Фро. — Ты просто завидуешь Сереже. Он человек творческий, а ты...

— Да не в этом дело! — резко оборвал я Фро.

— А в чем? — почуяв неладное напряглась Фро.

В том, что сам путь к дому от метро, сам дом, в котором проживали Зойка с Таней описан предельно конкретно — с указанием реального адреса: название улицы, номер, подъезда, этаж. Это реальный дом, это реальные Зойка и Таня, это реальный Зойкин муж, разъезжающий на реальном, имеющем реальный номер «Гелендвагена» — амбал, встретившийся мне во дворе был описан Абросимовым настолько подробно, что не оставалось никаких сомнений в том, что они где-то когда-то встречались...

— Ты понимаешь, Фро, что это означает?

Она резко подалась вперед и вцепилась руками в рулевое колесо с таким остервенением, будто бы не стояли сейчас на месте, а неслись со скоростью 100 километров в час по петлям горного серпантина, рискуя в любой момент сорваться в пропасть; костяшки ее пальцев побелели, и я Фро вполне понимал, потому что информация, добытая мною у капитана, гласила следующее: владельцем «Гелендвагена», номерной знак такой-то, является некий Кувалдин Павел Николаевич, (погоняло — Паша Кувалда) имеющий две ходки за разбой, в настоящий момент активный, высокопоставленный член одной из мощных московских ОПГ.

Некоторое время в салоне «Гольфа» царило напряженное молчание. Мы оба прокручивали в памяти историйки, вышедшие из-под бойкого пера писаки; я, например, насчитал штук тридцать густо пропитанных любовным потом коллизий, в которых, скорее всего, действовали вполне реальные люди. И если хотя бы один из этих увенчанных ветвистыми рогами мужей... Если бы хотя бы одна из жен, узнавших что ее благоверный спит с ее приемной дочерью... Если бы хоть один папаша, узнавший, что ее сынок всю имеет его молодую жену...

— Ты понимаешь, Фро? Если хотя бы кому-то из них случайно попадется наш журнальчик... И он узнает в тексте самого себя... Равно как узнал себя этот бандит с большой дороги по кличке Паша Кувалда... — я помолчал. — Это мент, капитан, более чем прав. Сочинение сказок для взрослых — занятие крайне опасное. Кувалда, например, шел к писаке с явным намерением свернуть ему шею. Но его кто-то опередил.

Я вздрогнул, поняв, что в последней фразе сморозил чудовищную глупость и обнял Фро. Ее хрупкое плечико мелко подрагивало.

— И что теперь? — тихо спросила Фро.

— Версия о том, что за ним охотился снайпер, вроде бы отпала... Но я думаю, мне придется сходить по следу нашего писаки. К Тане. Дом я найду без труда... Можно позвонить с твоего сотового?

Фро достала из сумочки свой роскошный мобильник и протянула его мне. Я повертел телефончик в руках.

— Не знаешь, как этой штучкой пользоваться? — улыбнулась Фро.

— Ну и что? — пожал я плечами, хотя набрать-то номер уж как-нибудь сумел бы. — Это ведь не позорно. У нас в стране почти никто не знает, как надо с сотовым обращаться... Вот если бы ты выделила мне в свое время такой телефончик...

Приступив к работе курьера-редактора (трудиться мне приходилось сразу на этих двух фронтах), я намекнул Фро, что в разъездах мобильная связь бывает крайне необходима, однако она предложила мне перебиться; максимум, на что она согласилась расколоться, был пейджер, причем самый дешевенький — найди, Илюша сам какой-нибудь скромный вариант. Я пустился на поиски и выяснил, что в Москве действуют около 30 пейджинговых операторов, причем цены многие из них ломают просто безумные, «Радиопейдж», например, просит за месячное обслуживание 34 бакса. Да за такие бабки в том же «Би-Лайн 1800» можно было купить карточку на 65 минут разговора по сотовому. Мои аргументы впечатления на Фро не произвели, она никак не хотела поверить в то, что — по моим расчетам — пейджинговой связи скоро придет копец, ее неизбежно вытеснит сотовая. Так или иначе, я выбрал самый дешевенький двухстрочный приемник и нашел отличный вариант в Luxcom'e, где при оплате трех месяцев стоимость месячных платежей составила всего 15 баксов.

— Какой номер? — спросила Фро.

— Тани Лариной...

Дождавшись ответа, я попросил Пушкинскую деву залезать в мой компьютер, найти файл «помойка» и в конце его разыскать абзац, в котором фигурирует номер телефона. Этот абзац я выкинул из историйки про бордюры, потому что он заметно тормозил сюжет, оттягивая сцену в койке. Таня нашла, я записал номер в блокнот.

— Где это дом? — спросила, Фро, проворачивая ключ в замке зажигания. — Поехали. Я с тобой.

— Нет. Просто подвези меня в тот район. Дальше я сам. Это может быть опасно. Не хочу, чтобы пострадал один из двух оставшихся в нашей стране видов бизнеса.

— Одни из двух? — спросила Фро, снимая очки и доставая из кармана платочек.

— Секс и водка. Больше ведь ничего не осталось. Если ты не дай бог пострадаешь, столкнувшись в Пашей Кувалдой, то индустрия печатного секса понесет невосполнимую утрату. Что же касается меня... То гибель маленького человека — курьера — ничего не изменит.

Фро тщательно протерла платочком линзы, водрузила очки на переносицу и печально глянула на меня.

— А в разве не слышал? Что с водкой теперь будут большие проблемы?

Фро коротенько ввела меня в курс дела, и я просто потерял дар речи.

— Ты это серьезно? — спросил я не своим голосом.

— Ну да... Вчера мэрия приняла постановление.

Мне потребовалось время, чтобы осознать масштабы грянувшей катастрофы.

Этим сукиным детям мало того, что они устроили нам два месяца назад конец света, так они решили нас добить окончательно, введя запрет на торговлю водкой на оптовых рынках.

Отныне основной продукт нашего пищевого рациона будут продавать только в специальных магазинах. И цены управляющими этими торговыми точками барыги наверняка заломят несусветные.

— Так куда едем?

— Это в районе Парка культуры. Добрось меня до метро.

Фро резко рванула с места.

— Фро? — спросил я, когда она притормозила на повороте при выезде из переулка. — Ты хоть понимаешь, что эта диверсия с водкой означает?

Фро наивно предположила, что люди станут пить меньше.

— Нет, — возразил я. — Это означает, что скоро грянут буря. И кстати. Наш писака ощущения того, что мы стоим на пороге революции, отчасти описал... В одном из своих свежих творений. И началось там все тоже с водочки. С Шустовской.

Глава четвертая. Вихри враждебные

1.

Дуганов церемониальным жестом — локоть отведен в сторону, пальцы правой руки, большой и указательный, сойдясь в колечко, сжимают тонкую ножку хрустальной рюмки, вознесшейся со стола на уровень груди, — подвигал тонкими бескровными губами, пару раз мелко моргнул, шумно выдохнул, словно собираясь с силами перед каким-то напряженным физическим упражнением и глянул на сидевшего напротив Зельцера.

— Ну, брат Францыч, за твое блестящее будущее!

Взгляд был короткий, лукав и исполнен того скрытого подбострастия, затаенного на самом дне этих жидко голубых, с рыжеватыми прострелами, глаз, которое так Зельцера раздражало.

Уже давно раздражало, с тех самых пор, когда вместе они учились в гимназии. Дуганов этот был пятью годами старше Зельцера, и тогдашний его облик помнился смутно: серая тесная гимназическая курточка, щегольские панталоны со штрипками, вечно потный, в мелкой угревой сыпи нос и скользкие, глядящие не то что бы мимо собеседника глаза, а как бы — сквозь него. Зельцер — в то время хрупкий мальчик в синем картузе с серебряными пальмочками под козырьком — был наслышан, что Дуганов частенько бывал битым бит сотоварищами по классу за каверзный характер и наущничество.

Дуганов заметно изменился к своим тридцати годам, раздобрел, сделался грузным и одышливым, обзавелся брюшком, туго и округло распиравшим атласный жилетец немислимого какого-то бордового оттенка, однако же в рыхлом, землистого оттенка лице сохранил прежнее выражение голодного хорька, рыскающего в поисках поживы...

Зельцер выдернул из серебряного колечка отменно накрахмаленную салфетку и, подхватив ее за уголок, встряхнул руку, расправляя обширным парашютом плотное белоснежное полотно, не спеша заправил край его за ворот сорочки, и сокрушенно покачал головой, раздумывая о том, как же все нелепо в этот вечер складывается...

Он думал провести ранний ужин в привычном одиночестве, когда любимая им «Прага» еще не наполнилась публикой, и вот на тебе — вынырнул этот шелкопер, как черт из табакерки, возник в дверях ресторанной залы, повертел головой, морща свой потный, сально поблескивавший нос и подслеповато шурясь — в момент этот особенно напоминал хорька! — заметил его, Зельцера, в глубине зала, возле обширного зеркала по правой стене, картинно всплеснул руками и торопливо засеменил к столу. И уселся безо всякого приглашения, без спросу потянулся к запотевшему, прямо со льда, графинчику, налил себе рюмку... И еще раздражало — эта манерная его привычка, держа рюмку на уровне груди, оттопыривать мизинец с желтоватым обкусанным ногтем.

Собравшись с духом, Дуганов одним махом опрокинул покрывшуюся холодной испариной рюмку ледяной шустовской, шумно выдохнул в кулак, и глаза его, и без того жидкие, еще более увлажнились.

— Умеете же вы, немцы, жизнь свою устроить!

Зельцер хранил молчание, сложив руки на груди.

Дуганов, нелепо поморгав, налил из хрустального графина еще водки, быстро выпил, откинулся на гнутую спинку стула, обтянутую атласным шелком, с довольным видом погладил себя по брюшку, повертел головой, рыская туда-сюда глазами, затем, словно в погоне за какой-то туманной мыслью, прикрыл на мгновение глаза, насупился, извлек из жилетного кармашка луковку часов, щелкнул крышечкой, глянул на циферблат и с сожалением перекошил рот.

— От незадача! В редакции уж, верно, номер, сдается и мне надо поспеть со своею колонкой. Я ведь, брат Францыч, только-только с Пресни, а там, брат, такое... — он заговорче-

ски притушил голос, переходя на свистящий шепот. — Непокойно там, бунтует народ. А ты, видно, и не знаешь...

Иван Францевич неопределенно покачал головой. Будучи человеком трезвым, целиком и полностью погруженным в дела, он, в сущности, мало интересовался тем, что выходит за рамки его служебных обязанностей — если, конечно, то или иное событие в жизни общества не сказывалось видимым образом на биржевых настроениях или не было чревато серьезными катаклизмами в сфере финансов — и потому упоминание про Пресню отозвалось в нем разве что отголоском неопределенного, смутного беспокойством.

Коренной арбатский житель он, положив руку на сердце, толком и не знал этого темного и тревожного уголка Москвы и представлял его себе неким закордонным пространством, надежно отгороженным от того спокойного и цивилизованного мира, в котором он привык обитать. Рисовалось это пространство в его воображении туманно: кривые переулки, вдоль которых темнеют кособокие низкорослые трущобы, по плечи вросшие в землю, темные зевки глухих подворотен, кисловатое дыхание простонародных кабаков, запах нищеты, зловонная грязь сточных канав, в которых копошатся не умеющие уже стоять на ногах пьяницы, разбойный посвист по ночам, словом — дно, клоака. А дно оно и есть дно: московское, парижское или лондонское — разница тут не велика. Строго говоря, реальные его формы, запахи и голоса были Иваном Францевичем вычерпаны уже сравнительно давно, в гимназические годы, из романов Дикенса и Эжена Сю. Увидеть же, как оно реально выглядит — там, на Хитровке, или там, на Пресне — случая у него не было, ну и слава Богу.

Тем не менее, он отчетливо ощущал все последнее время некие тревожные флюиды, исходящие оттуда, из этой призрачной Пресни, было смутное ощущение беспокойства, чреватое трудностью в дыхании: будто бы парило, как перед грозой...

Газетные заметки о брожениях на этом московском дне он проглядывал в пол глаза, полагаясь на извечное российское прекраснотушение: побродит-побродит, да и успокоится себе.

— Ну, брат, на посошок! — возвести Дуганов, поднимая рюмку, и Зельцер обратил внимание на то, что манжет его сорочки, выехавший из-под пиджачного рукава, отвратительно осенен темным трауром несвежести.

Ополовинив графинчик, Дуганов посчитал, видимо, миссию свою исполненной, поднялся, коротко кивнул на прощание, нелепо шаркнув ножкой, и валкой утиной походкой повололся к выходу из зала.

Иван Францевич облегченно выдохнул, провожая взглядом этого невыносимо навязчивого репортера, пятью минутами ранее без приглашения подсевшего к его столу.

Приятельства меж ними не было ни в гимназические годы, ни теперь — Дуганов, пройдя, шелкопер, пописывал для московских газет заметки на темы коммерции, пару раз обращался к Зельцеру за консультацией относительно банковских дел — Иван Францевич быстро пожалел, что в свое время согласился помочь этому человеку, в котором его буквально с первой встречи все начало раздражать: и панибратские ухватки разбитного писаки, и фамильярное обращение «брат Францыч», и напоминание про национальные корни, которых Зельцер, происходящий из Петровских немцев, в себе почти и не ощущал — за исключением того разве, что не выучился по русскому обычаю напиваться в дым.

В чем репортер, впрочем, был прав, так это в оценке перспектив — к двадцати пяти годам Иван Францевич сделал блестящую карьеру, и вот на днях был возведен в ранг младшего партнера в солидном коммерческом банке. Выпить за это стоило.

Он потянулся к графинчику, однако же тут же руку и отдернул — казалось, запотевший хрусталь хранил отпечатки сальных репортерских пальцев, потому Зельцер сделал жест статному, гренадерского роста и сложения официанту. Тот без лишней торопливости, собственной шустрому пронырливому кабацкому половому с зализанной шевелюрой и грязным

полотенцем на изгибе локтя, приблизился к столу с чувством собственного достоинства и выжидательно склонил голову к плечу.

— Вот что, братец, — произнес Иван Францевич, — ты уж не обессудь, принеси-ка мне, новый графинчик взамен этого. Да и приberi тут, будь любезен.

— Как вам будет угодно! — густым басом отозвался официант, выставляя на серебряный поднос графин, рюмку, нетронутые репортером приборы и неспешно удалился.

Спустя минуту уже были доставлены к столу свежий графинчик, узкая селедочница, в которой лоснились куски осененной луковыми нимбами селедочки, плошка в солеными рыжиками да миска с малосольными демидовскими огурчиками.

Зельцер налил себе, сделал маленький глоток, запил водку клюквенным морсом, и приступил к вкушению закусок, наслаждаясь тем, как тает во рту селедка да сочно похрустывают на зубах крепкие, налитые пряными соками, огурчики.

После второй рюмки он начал было раздумывать над тем, что приказать подать на стол далее — выбор в «Праге» был как всегда широк — однако от этих мыслей его отвлекли приглушенные голоса за спиной.

Аккуратно уложив нож и вилку на серебряные подставки для приборов, Иван Францевич промокнул салфеткой губы и секунду пребывал в нерешительности — не нарушит ли он правил приличия тем, что обернется? — однако голоса не утихали, похоже, там, за спиной, происходила легкая перебранка, и он все-таки решился.

Чуть отодвинувшись от стола, он закинул локоть на спинку стула и забросил ногу на ногу с видом человека, переводящего дух после легкой закуски в ожидании горячего блюда. Посидев так с минуту, он будто невзначай, чуть развернул корпус вправо и все с тем же рассеянным отсутствующим видом окинул быстрым взглядом столы, разбегавшиеся по залу за его спиной.

Посетителей в ранний час было мало. Внимание Ивана Францевича привлекла странная пара, сидевшая за столиком наискосок от него, у высокого окна: мужчина и молодая женщина.

Мужчине было лет сорок на вид, у него было неестественно бледное, меловое лицо с запавшими воспаленными глазами, размашистый жест уже изрядно подвыпившего кутилы, и оттого не понятно было, что делает в его сомнительном обществе девушка, при взгляде на которую у Зельцера екнуло сердце.

Она была молода, свежа и просто обворожительная в своем простом сером холстинковом платье, его строгий фасон не в состоянии был стусевать изящных форм ее тонкого стана, плавные линии которого вдруг начали странным образом волновать воображение Ивана Францевича...

Настолько волновать, что он сконфузился, густо покраснел, ощутив, как мошонка начинает наливаться теплой тяжестью, — ничего похожего с ним в жизни не случилось, а уж тем более, при всем честном народе, да в публичном месте. Стараясь подавить в себе внезапный прилив этого волнения — казалось, от публики его конфуз не ускользнул! — он переменил позу, расплел ноги, но, прежде чем, отвернуться, украдкой бросил еще один быстрый взгляд на девушку.

В ее красивом, породистом лице стояло выражение муки — она то и дело растерянно оглядывалась по сторонам и неожиданно встретила с Зельцером взглядом, в котором тот прочел мольбу о помощи.

В этот момент бледнолицый спутник девушки с силой дернул ее за руку, понуждая отвернуться, окатил Зельцера раскаленным обжигающим взглядом, подался вперед, что-то энергично начал втолковывать своей спутнице, а напоследок отослал в сторону Ивана Францевича резкий кистевой жест, напоминавший тот, каким разморенный на солнцепеке дачник отгоняет надоедливую муху.

Ну, это было уж слишком, хамство чистой воды.

Чувствуя, как кровь закипает в жилах, Иван Францевич, не спеша, но с видом крайне решительным, поднялся, едва не опрокинув стул, расправил широкие плечи, выдернул из-за ворота салфетку, скомкал ее, швырнул на стол, развернулся на каблуках и решительной походкой направился в другой конец ресторанный залы.

Эта жестикуляционная перебранка от внимания редких посетителей не ускользнула, тонкое клацанье серебряных приборов притухло, в зале воцарилась напряженная тишина, в которой гулко отзывалось тупое туканье каблуков Ивана Францевича о мрамор пола.

По мере того, как он приближался к странной паре, в поведении бледнолицего господина начали замечаться перемены: он отцепил руку от локтя своей очаровательной спутницы, напряженно выпрямился на стуле и так застыл, покусывая уголок бескровного рта в ожидании того, как будут развиваться события. Потом как-то разом и вдруг сник, ссутулился и увел взгляд в сторону.

Приблизившись к столику, Иван Францевич, поправил узел галстука, сложил руки на груди и, почти не разжимая губ, угрожающе четко отчеканил:

— Милостивый государь! Извольте немедленно же прекратить!

Бледнолицый бросил на него угрюмый взгляд изподлобья и принялся теревить в тонких и нервных, мелко подрагивающих пальцах, край салфетки. Зельцер обошел столик, коротко кивнул девушке и, изменив тон, участливо произнес:

— Сударыня, вам неприятно общество этого типа?

Она робко глянула на Зельцера, повела хрупким плечиком и испустила вздох облегчения.

— В таком случае, сударыня, позвольте вас проводить.

В ее темных глазах вспыхнул и тут же потух тусклый огонек, она трогательно потупилась и кивнула утвердительно.

Ее спутник, смерив расшатанным от выпитого взглядом статную фигуру молодого человека, видимо расценил свои шансы в этой ссоре ничтожными и как-то разом поник, опустив плечи и тупо уставился в пустую тарелку.

Зельцер взялся за спинку ее стула, чуть сдвигая его назад и помогая девушке подняться. Секунду она стояла, глядя в пол, потом подняла на Зельцера исполненный искренней благодарности взгляд. Он согнул левую руку в локте, дожидаясь пока ее узкая маленькая ладонь не юркнет в изгиб руки. Помедлив, она не вполне уверенно отозвалась на его приглашение, и он сквозь плотную ткань пиджачного рукава и тонкий батист сорочки почувствовал тепло ее поразительно уютной ладони.

Она жила в доходном доме неподалеку от Никитских ворот, и в конце их неспешной прогулки по бульвару он уже знал ее историю.

Ее звали Нина, она консерваторка, дает уроки музыки детям зажиточных обитателей Замоскворечья, иных средств существования пока нет, и она целиком от своих нанимателей зависит...

— Тот наглец из ресторана — один из них?

Она зябко поежилась, словно окаченная внезапным ознобом и скорбно кивнула: да, причем, самый навязчивый, не дает проходу: встретил случайно на Арбате, потянул с собой в ресторан — иначе, мол, откажу от места. Пришлось пойти.

— Остальное вы видели.

Она опять поежилась, как будто воспоминание о неприятной сцене в ресторане отзывалось в ней накатом судорожной дрожи, плотнее подхватила Крица под руку, и он локтем ощутил плотную округлость ее груди.

Иван Францевич отнес ее порывистый жест на счет того нервного напряжения, в котором она все это время пребывала, еще не вполне оправившись от пережитого, и потому сделал деликатную попытку чуть отстраниться — не слишком впрочем ловкую, локоть еще плотнее

вмялся в упругую плоть, покачивая ее и чуть сдвинув в сторону, и что-то в этом прикосновении к тому запретному рельефу, который так волнующе был очерчен тонкой шерстяной тканью ее пальто было такое, что жаркий румянец сызнова, как совсем недавно в ресторане, полыхнул в его щеках.

А она, как будто и не заметила его неловкости, не сбилась с шага, по-прежнему плотно прижимаясь в нему, а он, расслабившись, просто отдался тому восхитительно волнующему ощущению, какое возникало в руке и заставляло кровь быстрее нестись по жилам.

— Да чем же мне вас отблагодарить? — чуть подавшись вперед, Нина заглянула ему в лицо. — Ах, как холодно, Господи... И что за ветер такой сегодня? Прямо ледяной. Похоже, я простыла.

Не мудрено, отметил про себя Зельцер. Ветер и в самом деле плотным ледяным потоком катил в ложе Большой Никитской, без жалости трепал голые кроны старых лип на бульваре, завывал где-то высоко, у самых крестов желтой торжественной церкви — Иван Францевич инстинктивно подставил ему спину, загораживая Нину от свирепых нахлестов этого ледяного вихря.

Она плотнее прижалась к нему, под тканью ее пальто так отчетливо ощущались тугие формы ее вдруг напрягшегося тела, что в глазах у молодого человека слегка помутилось, и лишь немного придя в себя, он догадался, что она, отвернув лицо в сторону, глядит в сторону Большой Никитской, в далеком устье которой тревожно чернели первые пресненские кварталы.

В темном бархате ее глаз обозначился какой-то прохладный стальной блеск, а от шепота вдруг повеяло странным холодом:

— Грядет...

— Что, Нина? — участливо осведомился он.

Она вздрогнула, тряхнула головой, словно прогоняя неведомое наваждение, так вдруг, невзначай накатившее на нее, и с виноватым видом улыбнулась:

— Ах, нет ничего... — грея дыханием зазябшую ладошку, она беспомощно глянула на Крица снизу вверх и шепотом повторила: — Чем же мне вас отблагодарить? Разве горячим чаем? Вот он, мой дом, мы уже пришли.

Не без волнения заходил в квартиру Нины Иван Францевич — он впервые оказался в доме одинокой женщины вот так, невзначай, не ожидая услышать еще из прихожей приглушенный гул голосов, доносящихся из столовой, где рассаживались вокруг стола с самоваром по центру званые на чай гости. С визитами в чужих домах бывать ему, конечно же, приходилось, но не слишком часто — на престольные праздники, или же по тому редкому оржественному случаю, когда кто-то из сотрудников банка отмечал день ангела, или, скажем, звал на крестины детей. И потому теперь он испытывал чувство мучительной неловкости, не зная, куда подевать руки, и с неудовольствием отметил, что мелко подрагивают его пальцы в тот момент, когда он помогал Нине снять пальто.

— Да вы не стесняйтесь, прошу вас, — трогательно улыбнулась хозяйка, расправляя плечи и чуть отводя согнутые в локтях руки назад, отчего крепкие груди ее на мгновение еще рельефнее обрисовались под плотно облегающим юное тело платьем, застегнутом на все пуговицы. — Давайте мы с вами — по-простому, без церемоний, а? Проходите, сделайте одолжение.

Испустив вздох облегчения — без церемоний, как это славно! — Иван Францевич, скинул свое пальто с бобровым воротником, устроил его на пустой вешалке по соседству со скромным пальтишком Нины, заглянул в высокое зеркало, стоящее по соседству с вешалкой, нашел, что галстучный узел чуть сбилась на сторону, а ледяной ветер улицы привел в некоторый беспорядок волосы на висках. Поправив эти огрехи внешности, он двинулся вперед в направле-

нии мутноватого пятна света, проникавшего в сумрак коридора со стороны распахнутой двери, возле которой дожидалась его Нина, пригласительно простирая руку в сторону круглого стола, над которым нависала обширная полусфера зеленого абажура с мягкой бахромой по краю. Свободной от жеста рукой она обмахивала лицо.

— Ах, как душно у меня! — прикрыв глаза, произнесла она. — В другой раз не следует так топить печку перед выходом...

Никакой духоты Иван Францевич, положив руку на сердце, в этой просто и даже бедновато обставленной тесной гостиной не ощутил — угольная печь в пасторальных изразцах, представлявших какие-то европейские, голландские, скорее всего, пейзажи, и в самом деле дышала приглушенным теплом из своего угла, справа от входа, однако бритвенно острый сквозняк, летящий из щелки над неплотно прилегавшей к оконному проему рамы, делал свое коварное дело — в гостиной было скорее прохладно! — однако замечание хозяйки пролетело мимо ушей Зельцера, уголком глаза следящего за тем, как тонкие пальчики девушки расстегивают верхнюю пуговку стоячего воротничка, потом еще одну, и еще.

Она энергично встряхнула рукой ворот, и в распах его на мгновение проявились: восхитительная белизна ее стройной шеи, тонкие уключины ключиц и так трогательно темнеющая в вершине груди впадинка... Иван Францевич поспешил отвести глаза в сторону, потому что сызнова ощутил предательскую тяжесть в мошонке — этот невольный наплыв возбуждения грозил явно проявиться под тканью плотно сидящих на чреслах брюк.

— Вы тут устраивайтесь, а я сейчас. Только самовар поставлю.

Коротко кивнув, она удалилась, а Зельцер шумно и с чувством облегчения выдохнул, промокнул платком окатившийся прохладной испариной лоб и присев на стул, обвел взглядом комнату, в обстановке которой — книжный шкаф с парой мутноватых застекленных окошек в дверках, низкий буфет, черный кожаный диван с круглыми валиками по левой стене, стол под простой полотняной скатертью да четыре стула — угадывалось та скромность и незамысловатая опрятность, которой дышит жилище человека, пребывающего в состоянии честной бедности.

И даже он находил в этой скромности нечто умильное, трогательно уютное — особенно вслед за тем, как на столе возник маленький медный самовар, а пространство комнаты накрыл покойный, быстро затухающий по углам зеленоватый свет от абажура — и до чего же был ароматен и сладок тот чай, что умело заваривала радушная хозяйка бедного дома, все сокрушавшаяся, что поданные к столу баранки успели подсохнуть и сделаться чуть ли не каменными: ах, не обессудьте, больше мне вам попотчевать нечем... А, впрочем, есть еще вишневая наливка, ее тетя прислала из деревни, у нее крохотное имение в Тверской губернии.

— Да полно вам, Нина! — успокоил ее Зельцер. — Сами же говорили, давайте обойдемся без церемоний.

Наливка отливала в хрустальной рюмке густым рубиновым оттенком — сделав пару глотков, Зельцер отметил, что тетя, как видно, знала толк в настаивании по каким-то стародавним прабабушкиным рецептам такого рода домашних напитков: после второй рюмки Иван Францевич почувствовал, что наливка ударила в голову, отозвавшись приятным теплом в крови, легкой туманной мутью, поплывшей перед глазами, и какой-то общей расслабленностью. Оно и неплохо, потому что скованность куда-то ушла, схлынула, а между ними, сидящими друг напротив друга под зеленым абажуром, возникла то таинство простоты и естественности, какое свойственно мирной беседе двух давно знакомых людей.

Откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, Зельцер наслаждался тем ощущением тепла и покоя, что вселяло в его взгляд изрядную долю смелости — во всяком случае он уже не отвел глаза в ответ на то, что Нина, опять встряхнув распахнутый ворот платья, сославшись на духоту, расстегнула еще одну пуговку, и Иван Францевич теперь уже не украдкой мог рассмотреть, как упруго округляются холмики ее крепких грудей, приподнятые тугим лифом.

Однако же усилием воли он все-таки преодолел инстинктивный порыв протянуть руку и коснуться пальцами это восхитительно сочной плоти, особенно же — вот этой темной ложбинки меж плотно сомкнутыми грудями, в которой хоронился простенький нательный ее крестик.

С четвертой рюмкой пьянящей наливки он уже и вовсе перестал прислушиваться к тем намекам здравого смысла, что призывали человека приличного и благовоспитанного держать себя в узде, и чуть ли в открытую любовался крутыми формами ее груди, наитием угадывая и в хозяйке скромного дома похожее настроение, болтал без умолку, рассказывая о себе, о перипетиях своей банковской карьеры, которая и в самом деле складывалась блестяще, да, в этом шельма Дуганов, конечно, прав.

— Так вы, выходит, банкир? — с не вполне определенной интонацией то ли удивления, то ли сожаления, протянула Нина, и пышные ее ресницы дрогнули, плавно опустились и опять вспорхнули, обнажив восхитительную влажность ее темных глаз.

— Да ну, что вы, Нина, какой банкир! Просто не самый последний человек в банке, — пожал плечами Иван Францевич, не замечая того, что язык его начал слегка заплетаться: тетушкина наливка, смешавшись с выпитой в ресторане шустовской, тупо и мутно ударила в голову.

«Уж не подсыпала ли тетушка в наливку клофелина?» — с тревогой подумал Иван Францевич; о клофелинщицах он был наслышан, читал на днях статью в одной из московских газетенок, кажется, «Московском комсомольце», где репортер подробно описывал, как эти девушки, опоив доверчивых мужиков отравой, обчищают их дочиста, включая всю наличность в портмоне и даже пластиковые банковские карточки Viza; однако бросив взгляд на Нину, тут же о своих тревогах и забыл, потому опрокинул еще одну рюмку, и словно сквозь слой мутноватой речной воды видел Нину, грациозно поднимающуюся со своего места, видел, как она низко наклоняется, потянувшись за стоящим на краю стола графином, однако рука ее виснет отчего-то в воздухе, переворачивается узкой ладоншкой вверх, и спелые груди едва не выпадают в распах расстегнутого платья, придержанные тугим краем отороченного простеньким кружевом лифа.

В этой ее исполненной грации позе — казалось, она в своем странном полу жесте на мгновение впала в глубокую задумчивость, не зная, что предпринять — было что-то настолько волнующее, что Иван Францевич уж более не противился тому мощно накаत्याющему на него вожделению, природу которого он, будучи человеком взрослым, конечно же знал.

Однако знание это было растворено в том взбалмошном времени, когда он, выпущенный с отличием из гимназии, подвизался по первости мелким клерком в одной средней руки кредитной конторе в ожидании приличествующего своим коммерческим талантам места, а потом, получив, наконец, достойное назначение и быстро пойдя в гору с оттенком неловкости и даже брезгливости вспоминал те визиты в сомнительное заведение, располагавшееся в одном из помпезных домов в Костянском переулке, которые он совершал время от времени в компании ровесников и таких же, как он, мелких сошек — там был салон с барышнями не самого последнего разбора и номера на втором этаже в одном из домов, который соседствовал с редакцией «Литературной газеты».

Что ж, с кем из молодых, Господи помилуй и прости, такого не бывало! Кому не приходилось шумной гурьбой вваливаться в салон, и отпуская в меру скабрзные шуточки, рассаживаться по обтянутым вытершимся пурпурным бархатом канапе, расставленным в круглой зале с притененными нишами, громким голосом требовать у грузной, с оплывшим стеариновым лицом *mesdame*, распоряжающейся в заведении, дешевого приторного ликеру, пить, курить папиросы, угощая густо напудренных женщин с лицами изможденных сельских кляч, брэнчать что-то веселенькое на расстроенном фортепиано, напиваться, быстро дуреть в дымном чаду, а потом на заплетающихся ногах шествовать вслед за барышней в номера... И просыпаться наутро с малиновым звоном в тяжелой голове, на мятых несвежих простынях, в тяже-

лом густом поту, находить подле себя разметавшуюся на перинах женщину, невыносимо вульгарную, с изношенным рыхлым телом и ужасаться тому, что с вечера, в мутной пьяной одуре, ты — возможно, кто знает? — был с этой продажной женщиною близок.

Словом, кое какой опыт такого свойства Иван Францевич имел, однако теперь он ничего путного ему не подсказывал, и потому он просто сидел, опираясь локтем на край стола, наблюдая за хозяйкой, которая, преодолев свое секундное замешательство, выпрямилась, плавно покачивая бедрами, обошла стол, встала у него за спиной и опустила руки ему на плечи.

Он успел услышать ее теплое дыхание, а в следующее мгновение висок его тронуло ощущение мягкого ожога — она прикоснулась к нему губами... Он опустил руку на ее упругую талию, погладил бедро, притянул ее к себе — она поддались его намеку, опустилась ему на колени, и Ивану Францевичу почудилось, что он ненароком ввалился в дымную банную парную, едва не задохнувшись от вдруг накатившего жара.

Этот жар окатывал его со всех сторон, им, казалось, густо дышали ее мягкое округлые ягодицы, спелую плотность которых он чувствовал коленями, ее тугие груди, по которым блуждала одна его рука, тогда как другая, соскользнув с бедра, поглаживала ее плоский живот, так восхитительно припухавший внизу мягким податливым бугорком. Этот жар испаряли и ее нежные губы, мягко касающиеся полыхающего лица молодого человека, и ее руки, ослабляющие галстук, а потом проникающие под сорочку.

— Хм-м-м, какой же вы, однако... — прожурчал над его ухом ее колокольчиковый голос, и последние отблески ясного сознания потухли в его воспаленной голове, потому что вслед за каким-то ее легким движением он ощутил коленями упругое давление ее сильных грудей, а там где рвалась вверх его крепкая мужская сила, уже мягко блуждали ее ласковые руки, освобождавшие ее от узды тесных брюк — она соскользнула с него и теперь стояла на коленях, помогая ему избавиться от одежды.

— Ой! — испуганно придавила она ладошкой возглас изумления, оседая себе на пятки и хлопая пышными ресницами так, будто старалась сморгнуть впечатление от взгляда, направленного к низу его живота.

Опустив голову, он тоже увидел то, что открывалось ее взгляду, и сделал робкую попытку прикрыться, но она ласковым жестом отвела его руку, и теплое касание ее тонкой ладошки окончательно помutilo его рассудок.

Уже весь во власти какого-то необузданного инстинкта, он ринулся к Нине, придавливая ее к полу, его дрожащие пальцы путались в каких-то потайных застежках, пуговках, петельках и крючочках, все никак не находя пути к возжеленной цели, и когда он начал изнемогать в борьбе с этими секретами ее одежды и белья, она вдруг тихо рассмеялась:

— Ах, какой же ты неловкий... Женщина это ведь что ваш банк, ее сокровища под охраной, и хранятся они за надежными замками, их вот так с налету не возьмешь...

Она проворно выскользнула из-под него, и в ее глазах вдруг замерцал какой-то лукавый озорной блеск.

— А что, это мысль! А ну как, мой милый друг, нам с тобой сейчас сыграть в эту игру — ну будто в фанты! — она порывисто вскочила на ноги и сахарно рассмеялась. — Возьми мои сокровища! Хотя — предупреждаю — это не проще, чем проникнуть в сейфы твоего банка... Что там у вас? — задумчиво наморщила она носик. — Сигнализация... Охрана... Еще что-то...

Ее азарт мгновенно передался и ему. Вскочив на ноги, он притянул Нину к себе, горячо зашептал ей на ухо:

— Ага, попалась... Сейчас. Сигнализация, говоришь? Да, швейцарская система Шлиренцауэра. Штука мудреная, но мы ее обойдем!

— Как? — томно прошептала она, упираясь руками в его грудь.

— А вот так... — он нашептал ей на ухо первое, что вдруг на ум пришло, а пришло именно то, что он, неплохо разбираясь в сигнализационных системах, знал.

— Есть! — улыбнулась она.

Иван Францевич почувствовал, как его шепоты отзываются в ней той призывной расслабленностью, которая, наконец, позволила ему обнажить ее восхитительно белое тело и наконец, увидеть его: высокие груди с напряженными розовыми вздутиями вокруг острых сосков, крепкие бедра, красивые сильные ноги, бугорок сумрака внизу живота, к которому вдруг непроизвольно потянулась рука и недоуменно отпрянула, ощутив жесткость этого ворса, казавшегося на взгляд таким мягким и бархатистым.

— Х-м, так вы уже и на попятный? — томно выдохнула она ему в лицо, ловя его руку и удерживая ее там, куда она слепо направилась.

Нина чуть расставила ноги, открывая его пальцам путь, но в тот момент, когда они коснулись ее бедра, она вдруг напряглась, плотно свела ноги, поймав его руку в жаркий капкан.

— Вы разве забыли про сокровища? Но путь к ним лежит через мудреный шифр...

Из глубин помутившегося сознания выплыли комбинации цифр, давно затвержденные в памяти, — в ответ на его шепоты она начала оседать на пол, а он нависал над ней, плавно раздвигал в стороны ее красивые ноги, меж которыми зиял теплый и манящий сумрак, она задышала часто-часто, опустила ресницы и прошептала:

— Ну вот, ты отворил все запоры, теперь — бери...

И он толком не понял, что произошло: она резко подалась ему навстречу, ее ноги взлетели вверх, и согнувшись в коленях, сплелись ступнями за спиной — все случилось настолько быстро, что он, толком не уловив момент их соприкосновения, разом ухнул в ее горячие недра этой поразительной женщины, шаг за шагом уступавшей ему в их шутливых играх и вот, наконец, сдавшейся окончательно и отворившей последнюю дверь своего сокровенного сейфа.

Проникновение в эти запретные пределы было настолько сладостным, что он более не в силах был бороться с собой, и вслед за сотрясшим все его тело толчком, хлынул в нее. Но когда исчерпал себя, казалось, до самого дна и влекомый каменной усталостью начал клониться на бок, она его не отпустила.

— Не уходи... Эти богатства ты за один раз не унесешь...

И он почувствовал — той частью своего существа, что по-прежнему утопала в ней — как недра ее пришли в движение, в чем-то напоминавшее челночные скольжения ее так возбуждавшей его руки, и возможно именно отсутствие видимого источника этого движения опять отлилось сладкой ломотой во всем теле — он брал и брал ее потайные богатства до самого тех пор, пока в первом предрассветном сумеречном свете не изнемог под их тяжелой ношей и не уснул каменным сном.

Проснулся он с ощущением ноющей пустоты в душе, отдалено знакомой — откуда? — он толком разобрать не мог. Поерзал на упругом ложе дивана, с трудом приподнялся на локте, сел, свесил ноги к полу, мутным раскаченным взглядом обвел пространство гостиной, поначалу не понимая, как и зачем здесь оказался, и вдруг, прислушавшись к себе, он с ужасом осознал, что природа той ноющей пустоты, что заполняла все его существо, приобретает все более определенные формы. Его разом окатил холодный пот — да быть того не может! — ведь ровно так же, с гулким буханьем в висках, отвратительной сухостью во рту, с ощущением кисловатой несвежести дыхания ему не раз случалось пробуждаться в молодые ветреные годы, когда он с бесшабашной компанией сверстников совершал набеги в салон в Костянском...

Он зажмурился, тряхнул головой — неловкое движение отозвалось взрывом острой боли в висках, а вслед за этим мучительным ощущением каменная тяжести в затылке — сдавив виски ладонями он посидел с минуту унимая боль и слабо постанывая, отдышался и тихо позвал:

— Нина?

Никто не отозвался.

Он откашлялся, настраивая показавшийся ржавым голос, и опять, уже громче позвал:

— Нина?

Ответом ему был острый посвист ветра за окном, от нахлестов которого мелко дребезжало оконное стекло, сквозь которое лился в комнату грязно серый свет сумрачного утра.

Иван Францевич нашел, наконец, в себе силы подняться с дивана, встать в полный рост — покачнувшись, он пошире расставил ноги, удерживая равновесие, и только теперь обнаружил весь ужас своего положения: он был совершенно гол в чужом доме. Одежда его — смутно помнилась — была Ниной, уже распаленной страстью, в беспорядке разметана по полу, однако теперь ее на месте не было, вот разве один галстук вяло свисал со спинки стула.

Он зябко поежился, сложил руки на груди и стиснул пальцами плечи — в доме было прохладно и даже скорее студено: печку в углу они на ночь глядя как будто не топили. Повертев головой в поисках чего-то такого, чем можно было бы прикрыться, Иван Францевич ничего похожего на халат или плед в гостиной не обнаружил, потому вынужден был довольствоваться скатертью, покрывавшей стол.

Набросив ее на плечи и запахнув края на груди, он рискнул двинуться в экспедицию по квартире, состоящей, как скоро выяснилось, всего из пары комнат.

Соседствующее с гостиной помещение представляло собой скудно обставленную спальню — в углу справа от окна висело оправленное в светлую ореховую раму зеркало с узким столиком, на котором стоял латунный подсвечник с парой оплывших свечей, у столика — низкий дамский круглый пуфик в аккуратно скроенном по размеру светлом матерчатом чехле, рядом — темного дерева секретер с откинутой крышкой, слева по стене — укрытая нежно голубым атласным покрывалом широкая кровать с решетчатыми металлическими спинками, стойки которых венчали латунные, тускло поблескивающие шары, угол возле двери целиком занят узким высоким платяным шкафом.

— Нина? — тихо произнес Зельцер, с запозданием отдавая себе отчет в тщетности этого призыва: дом явно был пуст.

Потянув носом, Иван Францевич с удивлением уловил в прохладном воздухе спальни стойкий запах дешевых папирос — это странно, хозяйка дома, насколько он помнил, не курила! — и еще он уловил: не то что бы запах, а скорее его оттенок, из того сорта отзвук запаха, какой говорил о том, что, помимо хозяйки, в этой спальне обитал мужчина. Бог же его знает, из чего смешан этот аромат, — горьковатые флюиды табака, чуть-чуть крепкого и типично мужского пота, дезодоранта Nivea, немного той ваксы, которой мажет мужчина свои штiblеты, еще что-то смутное, неопределенное — размышлять на сей счет было Зельцеру недосуг в его аховом положении.

Догадка эта подтвердилась, когда он открыл дверку платяного шкафа, в левом темном углу которого, сдвинутое рядом аккуратно устроенных на вешалках платьем, Иван Францевич углядел нечто такое, отчего у него перехватило дыхание.

Это был тот самый темно серый костюм, который давеча, в ресторане, был на бледнолицем спутнике Нины. Там же валялись модные, протертые до дыр еще на фабрике, джинсы Levi's.

Голова у Ивана Францевича все еще покруживалась, тупо ломило в висках. Ощущение тревоги коснулось его, когда он покосился на откинутую крышку секретера, заваленную бумагами.

Он не понял поначалу, где источник беспокойства, и вдруг наткнулся на него рассеянным взглядом.

Это было слово.

Оно бросилось в глаза на листе, косо выползающей из-под какой-то книжки:

«Грядет...»

Прикрыв глаза, Криц напряг память — что-то знакомое? — ах, да, конечно, именно это странное слово сорвалось с губ Нины вчера при взгляде в конец Большой Никитской, за которой смутно гудела разбойная Пресня, а в бархатных ее глазах на мгновение возник промельк поразительно холодного блеска, напоминавшего блик от ствольной ворони, что так поразил его, поскольку никак с обликом трогательной девушки не вязался.

— Странно... — пошептал он, вдруг припомнив, с чего начались их восхитительные любовные игры, погрузившись в которые он напрочь забыл обо всем на свете.

Дрожащими пальцами Зельцер извлек бумагу из-под книги и онемел.

Это была прокламация партии социал-революционеров, открывавшаяся хлестким выкриком: «Грядет революция!»

Далее, после внушительных залпов пропагандистского красноречия, следовали подробные инструкции, сводившиеся к тому, что пришло время экспроприировать банки. Ибо поднявшемуся на борьбу с самодержавием пролетариату нужны средства на оружие...

Зельцер похолодел. Выходит, все было ложью: спектакль, что она со своим бледнолицым сотоварищем устроили в ресторане, завлекая его, роль трепетной консерваторки, и сама эта восхитительная ночь, когда она сумела — под видом такой заманчивой игры — вытянуть из него все: внутренний распорядок банка, охрана, система сигнализации, сейфовые шифры...

Да плюс к тому, воспользовавшись его забытостью, сумела прибрать к рукам связку сейфовых ключей, лежавших в кармане пиджака, который исчез вместе с остальной его одеждой.

Голова Ивана Францевича словно заледенела на мгновение.

Оно и неплохо — к нему вернулась врожденная способность трезво мыслить.

И, тем не менее, все, что было потом, напоминало тот мучительный и мутный полусон, в который человек изредка впадает под утро, пробудившись, чтобы сделать глоток воды, а затем, освежив сухое горло, разрешает себе соснуть еще немного — и так все беспокойно ворочается в постели, не понимая, где, собственно находится: то ли в яви, то ли в состоянии тревожной дремы.

Все — в полу сне: примерка пиджака, который оказался для крепкого сложения Ивана Францевича мал настолько, что руки высывались из рукавов чуть ли не по локоть, а уж о том, чтобы застегнуть пиджак не было и речи. Зато вот джинсы Levi's сносно легли на узкие бедра, хотя оказались и коротковаты. И, слава Богу, что по ноге пришились черные мужские штиблеты, обнаруженные Зельцером в обувном отделении той вешалки, что стояла в прихожей.

Тупо и равнодушно глянув в зеркало, он вышел вон, не отдавая себе отчета в комичности своей наружности, более приличествующей клоуну из странствующего балагана, сбежал вниз по лестнице, выкатился на улицу, до блеска отполированную сильным ветром, который — против вчерашнего — был гораздо крепче и все более походил на настоящий штормовой вихрь, и едва не был сбит с ног давешним непрошенным сотрапезником Дугановым.

Расхристанный, с разгоряченным, ветчинного оттенка, лицом и полыхающими лихорадочным огнем глазами, он окинул Зельцера опрокинутым взглядом, словно не понимая, кто стоит перед ним, потом махнул рукой в конец улицы, туда, где сухо и резко трещали беспорядочные ружейные выстрелы, и засеменил к Малой Никитской.

С Маховой к Никитским воротам мощно катилась лава казачьего эскадрона.

Зельцер, едва не угодив под пронесшуюся мимо серую лошадь с коренастым седоком, кинулся к офицеру, средних лет омовцу со свирепым, медного оттенка обветренным лицом и цыганским блеском в черных глазах, успел ухватиться за повод.

— А, господа штафирки, черт бы вас!.. — в сердцах рубанул нагайкой звенящий от крепкого мороза воздух омовец, выслушав сбивчивый рассказ Крица. — И без вас тут дел... — однако, помолчав, крикнул: — Эй, вестовой! Срочное донесение в штаб!

Должно быть, донесение пришло во время. Когда Криц прибыл к зданию банка, там все уже было кончено...

Налетчиков было, как оказалось, двое. Мужчина с меловым лицом и молодая красивая женщина. Мужчину скосил залп полицейского наряда, укрывшегося по углам кассового зала, где стояли терминалы для пластиковых банковских карт. Позднее в нем опознали боевика из партии национал-большевиков Эдички Лимонова.

Женщине удалось уйти.

Зельцер поднял лицо к низкому небу. Свирепые вихри, в налетах которых сквозила враждебность всему живому, в клочья рвали жидкую, походящую на обрывки ветоши, облачность: девятьсот пятый год обещал быть беспокойным.

Он вспомним это небо много позже, когда спустя три года направился отдохнуть на водах, в Баден-Бадене, не без раздражения найдя его чем-то наподобие курортной столицы России, того эскападного Куршевеля, где зимой зажигали олигархи, — то и дело на улочках, напминавших декорацию кукольного театра, слышалась родная речь.

Городок, плавно вписанный в романтический пейзаж Шварцвальдских гор, был стар, мал, уютен, на типичный германский манер стерилен, по-санаторному неспешен и по-курортному улыбчив. По внешнему впечатлению он был «трехэтажен»: зарождаясь в долине, среди фруктовых садов и виноградников, он упорно карабкался вверх, цепляясь за природные террасы, и на них укоренялся. На средней — укоренился респектабельный его центр городка. На верхней, третьей ступени, этого роскошного природного дома квартировали богатые господа — там, на горе, нашли приют дорогие гостиницы, пасторальные озера и два замка, старый и новый. От средневекового старого остались руины, а новый, принадлежащий князьям Баденским, похоже, находился на пути к печальной участи своего старшего брата.

Иван Францевич, сторонившийся соотечественников, частенько забредал сюда, наверх. От старого замка виден весь утопающий в зелени город — и казалось, в этой колышущейся на легком ветерке зеленой массе угадывалась знаменитая крона, что называлась *d l'Arbre russe*, «русском деревом» то есть, возле которого частенько собиралась вся местная русская курортная колония.

Стоя наверху, Зельцер живо представлял себе, как на этом самом месте некогда стоял Тургенев, наблюдая открывающиеся взгляду виды: «Все кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы — все празднично, полную чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца...» И, может быть, посидев за маленьким столиком в кофейне Вебера, отмечал в своем блокноте: «К русскому дереву обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования... Тут была вся «*fine fleur*» нашего общества, «вся знать и моды образцы».

Пролистывавший вечером в день приезда повесть «Дым», Зельцер замечал, что наблюдения эти вошли в ткань повествования, герои которого вовсе неслучайно ведь отосланы были автором в Баден-Баден... Потому что из всех европейских мест и местечек, городов и городков, столиц и провинциальных захолустий Баден-Баден казался безусловно самым «русским» городком. И ни одного из тех, кто причислял себя к *fine fleur*, то есть к «сливкам общества» чаша сия не миновала: все они здесь хоть раз да побывали. Прогуливаясь по городку, Иван Францевич находил дом, в котором квартировали Вяземские, разглядывал виллу Горчаковых, виллу Виардо, останавливался возле того дома, где Достоевским был написан «Игрок» и где было задумано «Преступление и наказание». А потом, воротясь усталым домой, находил

вполне пристойной гостиницу «Европейский дом», в которой остановился по примеру персонажей «Дыма».

К Русскому дереву Криц ходил нечасто. И вот как-то, когда ненастным ветреным утром ноги сами понесли его сюда, он, окинув взглядом редких прохожих, рискнувших выбраться из гостиниц на променад, вдруг остолбенел, уловив в облике одной из дам нечто знакомое... Да, это была она, Нина.

Она почти не изменилась, только теперь глаза ее целиком заполнял тот стальной холод, промельк которого так поразил его там, у Никитских ворот.

Он проследил ее путь до гостиницы Hilton, постоял у входа в отель, расстраиваясь за основателя этой гостиничной империи: и надо ведь такому случиться, что у столь достойного человека выросла такая беспутная дочка по имени Пэрис! Стеклянные дверки отеля плавно расползлись в стороны, едва Иван Францевич к ним приблизился, он вошел в холл, справился у портье, в котором номере остановилась фройляйн, поднялся на второй этаж, вошел в апартаменты, нисколько не обращая внимания на то, что визит его пришелся явно не ко времени: Нина в одном долгополом шлафроке стояла возле постели, откинув одеяло и собираясь, как видно, отходить ко сну.

— Давайте сударыня, как и было между нами уговорено, без церемоний, да? — усмехнулся Зельцер, скидывая пальто, а затем и пиджак от Прадо.

Она словно в приступе столбняка наблюдала за тем, как он расстегивает брюки, и только тихо охнула, когда он решительным движением опрокинул ее навзничь, задрал подол шлафрока, грубоватым жестом широко раздвинул ей ноги, встал меж них на колени, и молча, одним сильным толчком вошел в нее, сорвав с ее губ жалобный острый крик.

— Я пришел взять этот банк, — тихо сказал он, наблюдая за игрой выражений в ее обморочно бледном лице, и вдруг с изумлением отметил, как в ответ на его резкие движения в ее еще минуту назад таких холодных, со стальным отливом, глазах, начинает плыть туманная муть и вот наконец ее взгляд начал приобретать смысл и качество того мягкого темного бархата, который так тронул его когда-то.

— Господи, что я делаю! — прошептала она, начав раскачивать бедра ему навстречу.

2.

Эх, этого бы Ивана Францовича, кинутого писакой в мутный омут московской заварухи начала века, да здесь бы выловить — ну, предположим, при выходе из той же «Праги». Я б взял банкира под локоток, провел бы по Арбату, предварительно напичкав сердечными каплями, чтобы он тут же не врезал дуба при взгляде на то, во что эта славная московская улочка превратилась к моменту конца времен.

Если бы в нем еще оставались силы для дальнейшей прогулки, мы обогнули бы махину мидовской высотки и двинулись Смоленским бульваром до бульвара Зубовского, затем дальше — в сторону реки. Я больше чем уверен, при спуске с моста Иван Францевич сбился бы с шага: до него донеслись бы те самые тревожные флюиды, что когда-то исходили от разбойной Пресни. Мне и самому показалось, что в душе у меня возникло смутное ощущение беспокойства, чреватое трудностью в дыхании: будто бы парило, как перед грозой...

На подходе к Парку культуры я прокручивал в памяти детали приключений Ивана Францевича, и пожалел о том, что правил этот рассказец впопыхах. Файл «помойка» пополнился несколькими абзацами, никакого отношения к теме не имевшими, но я явно зевнул кое-что по мелочам. И теперь Фро наверняка спросит меня, про джинсы Lewi's в гардеробе налетчика, дезодорант Nivea и редакцию «Литературной газеты» в Костянском переулке времен первой русской революции. Равно как о том, откуда на улочку тех времен залетел омоновец, а в памяти Ивана Францевича всплыл эскападный Куршевель, да еще эскападная блондинка Пэрис Хилтон до кучи.

День стоял серый и промозглый, с реки потягивал прохладный ветерок, но ощущение того, что здесь парит, нарастало по мере того, как я приближался к Парку культуры — изрядная толпа темным пятном растекалась по всему пространству перед торжественной колоннадой центрального входа и одобрительно гудела в ответ на громохание чьего-то усиленного динамиками командирского голоса, призывавшего отправить президента Ельцина на мыло.

— Господи, что это тут? — раздался за спиной чей-то тихий интеллигентный голос.

Я обернулся. Это была невысокого роста, скромно одетая женщина лет шестидесяти, по виду то ли школьная учительница, то ли библиотекарь; из под вязаной шапочки выбивалась прядка седых волос, глаза за очень толстыми стеклами очков казались неживыми.

— Вы разве не слышите? — сказал я. — Любимая наша забава. Происходит детальный подсчет столичных фонарей.

— Зачем фонарей? — в оторопи поинтересовалась она.

— Затем, что нам надо точно знать — хватит ли в Москве фонарей, чтобы развесить на них всех этих сук.

Оратор в этот момент как раз перешел к поименному перечислению приговоренной к экзекуции сук; его хрипловатый голос и резкие интонации показались мне смутно знакомыми; когда же народный трибун приступил к характеристикам врагов, я опознал его окончательно — это был суровый генерал и депутат, знаменитый тем, что за словом он, как правило, в карман лезть не привык.

Не изменял он себе и на это раз — Новодворская удостоилась звания «жирной жабы», а Егор Гайдар был поименован как «жопа с ушами». Пока генерал гремел с невидимой нам трибуны, раздавая направо и налево живописные эпитеты, я изучал перлы народного творчества, отлитые в чеканные строки транспарантов. Оригинальностью они в массе своей не отличались, большинство так или иначе интерпретировали смысл призыва, вычерченного на огромном кумачовом полотнище, возвышавшемся надо толпой: «Ельцина — на рельсы, Чубайса — на сук!»

Однообразие лозунговой стилистики, впрочем, разбавлял плакатик, который держала в руках на уровне груди девчушка лет двадцати с бледным вытянутым лицом и стальным комиссарским блеском в широко расставленных глазах; в распахе ее серой нейлоновой курточки пламенел повязанный поверх черной водолазки пионерский галстук; я слышал, конечно, что наш градоначальник в кепке — не иначе как с очень большого бодуна — недавно высказался за решительное возрождение пионерской организации, но не предполагал, что набор в ряды юных ленинцев уже начался; на ее плакате было начертано: «Клинтона — в отставку за Монику, Ельцина — под суд за развал России!»

Стояла она на некотором отдалении от плотной массы толпы, я подошел и спросил, причем тут бедняга Билл, на которого всех собак спустили; Билл — нормальный мужик, играет на саксофоне, он сам пал жертвой блудницы, которая склонила его оральному сексу в овальном кабинете.

Девчушка одарила меня ледяным взглядом и отвернулась.

Генерал тем временем перешел к подробному описанию того, как он будет собственноручно пороть долбанных пидарасов реформаторов на Лобном месте, прежде чем их собственноручно оскопит. Я взял женщину в очках с толстыми стеклами под локоть и повел сторонкой в обход толпы — то ли она очень плохо видела, то ли просто боялась, самостоятельно пересечь душное, как перед грозой пространство площади перед входом в Парк Горького.

3.

Телефон-автомат я заметил еще по дороге в этот дворик — полукруглый чехол из прозрачного пластика накрывал стального оттенка таксофон с кнопочной панелью для набора и вертикальным пазом с прорезью для жетонов на углу обшарпанного плоского семиэтажного

дома, неряшливо освеженного по весне салатового оттенка краской, уже местами облупившейся.

Перебравшись на другую сторону улицы, я опустил жетон в прорезь, набрал номер. Мне ответил мягкий женский голос.

— Таня? — спросил я.

Женский голос подтвердил, что я попал по адресу; я деликатно осведомился на предмет того, удобно ли мне прямо сейчас зайти в качестве клиента, и голос ответил, что да, вполне удобно и начал было объяснять, как мне найти ее квартиру.

— Я знаю, знаю, — сказал я, бросил трубку на разболтанный рычаг, а спустя пять минут уже стоял перед знакомой дверью — писака в своем рассказике про бордюр под окном описал путь до уютного гнездышка греха весьма подробно.

Дверь квартиры медленно приоткрылась, и на пороге возникла женщина лет тридцати, ниже среднего роста, с простым, совершенно лишенным какого-либо макияжа, лицом, нисколько не вульгарным, как можно было ожидать, а скорее миловидным — особый шарм ему сообщала чуть вздернутая верхняя губа и миндалевидный разрез глаз. Склонив голову на бок, она окинула меня медленно восходящим взглядом, улыбнулась — как мне показалось, вполне искренне — кивком пригласила заходить, посторонившись, но я все еще столбом стоял на пороге, полагая, что ошибся адресом.

— Татьяна?

— Как видишь. А ты?

— Илья.

— Заходи, Илья.

Я зашел, потоптался в прихожей, глядя ей вслед — она медленно удалялась по узкому коридору, слабо покачивая бедрами; движения эти вполне выразительно читались под простеньким ее домашним халатиком, и это было, пожалуй, единственное, что намекало на ее профессию, Впрочем, так пикантно покачивают на ходу задом большинство женщин. Она остановилась в конце коридора, вопросительно глянула на меня через плечо и опять слегка вздернула верхнюю губу, отчего в лице ее проросло выражение то ли чем-то испуганного, то ли очень удивленного ребенка.

— Таня... У тебя кофе нет?

Кофе у нее есть, какое счастье, можно было сделать паузу, оттягивая момент объяснения цели визита — просто сидеть на многое на своем веку повидавшей табуретке у втиснутого между холодильником и подоконником узкого столика, крытого белой, в крупную красную клетку клеенку, сидеть, откинувшись на стену, и созерцать обшарпанную обстановку крохотной кухоньки, следить за слабым шевелением ее лопаток под тканью халатика в ответ на манипуляции рук, порхающих над крохотным разделочным столиком, слышать запах поспевающего в медной турке кофе, и ни о чем не думать. Однако деваться было некуда — кофе уже парил ароматным дымком в белой тонкостенной чашке, она сидела напротив меня на табуретке, закинув ногу на ногу и, подперев подбородок ладонью смотрела куда-то сквозь меня, как будто заново изучала узор выцветших, палевого оттенка обоев и молчала, так что ничего мне другого не оставалось, как только полезть во внутренний карман куртки и выудить из него фотографию Абросимова; фотку эту я позаимствовал совсем недавно у Фро, которая подвезла меня до метро Парк культуры.

— Знаешь его? — спросил я, кивая на легший на стол снимок, на котором Абросимов вышел совсем неплохо, возможно потому, что захвачен он был щелчком объектива в момент благодатной расслабленности, с букетом шашлычных шампуров в одной руке и бутылкой водки в другой.

Не сразу, а спустя время, потраченное на задумчивое поглаживание уголков рта подушечками пальцев, она Абросимова узнала: да-да, конечно, он был здесь, странный, странный

человек, он приходил сюда вовсе не за тем, зачем приходили другие мужчины, он просто сидел здесь, на том же месте, что и ты, ровна так же пил кофе и слушал, потом он достал из сумки бутылку водки, мы выпили немного, и он опять слушал. А что до плотских утех, то до них дело не дошло, пояснила Таня, говорю же тебе, он приходил сюда вовсе не за тем.

— Он просто расспрашивал меня о житье-бытье.

Еще пару дней назад я был убежден, что писака творит свои «горячие истории» примерно так: улегшись на диван в своем сумрачном кабинете, он сует в рот палец и, не мигая, пялится в потолок, высасывая из пальца очередную пышущую любовным жаром коллизию; представление о таинствах творческого процесса изменила встреча с амбалом во дворе абросимовского дома; теперь приходилось признать, что время от времени он погружался в пучину реальной жизни в поисках свежих впечатлений.

Я осторожно перевел разговор на большого человека, разъезжающего на черном «Гелендвагене», более или менее подробно описав его.

— Паша? — мелко поморгала она. — Кувалдин?

Как оказалось, они знают друг друга с детства, учились в одном классе; теперь он появляется тут нечасто и разве что затем, чтобы провести свою любовницу Зойку — первая любовь еще со школы! — живущую с Таней по соседству.

— А что? — нахмурилась Таня.

Пришлось выложить ей историю про бордюр — в общих чертах, избегая подробностей — рассказик этот ее позабавил: да-да, было дело, в прошлом декабре, Паша Кувалда явился к Зойке неожиданно, свалился как снег на голову, так что очередному Зойкиному хахалю пришлось спастись бегством через окно, словом, все выглядело именно так, как Абросимов и изложил в своем творении, за исключением финала, в котором Таня возвращала героя к жизни теплом своего обнаженного тела.

— Тогда... За рюмкой водочки я рассказала твоему приятелю эту историю. Не припомню уж — зачем и почему. Просто как-то к слову пришлось... — она помолчала. — Так он, выходит, ее опубликовал? — я молча кивнул. — Хм... — она помолчала. — Вряд ли это осмыслительно.

— Не то слово, — кивнул я. — Таня, ты не знаешь... Наш писака с твоим школьным приятелем не пересекался?

— Пересекался... Я видела из окна.

Абросимов, как оказалось, поставил свой «Жигуль» во дворе не слишком удачно, перекрыв пространство для маневра «Гелендвагену»; когда Таня выглянула из окна, Кувалда полемизировал с писакой; тогда дело кончилось миром, Абросимов сел в свой рыдван, Паша в свой блистающий лаком танк, на том они и распрощались.

Я не сомневался, что большинство серьезных мафиозных бригад располагают собственными разведслужбами, так что вычислить — ну хотя бы по номеру автомобиля — адрес писаки труда не составляло.

— Спасибо, Таня, я пойду, пожалуй... Извини. Отнял у тебя время. — я полез в карман, выудил из него портмоне и горько пожалел об этом, напоротившись на укоризненный ее взгляд.

— Хочешь выпить? — слабо, одними уголками губ, улыбнулась она, и, не дожидаясь ответа, встала с табурета, раскрыла дверку старенького холодильника, выдернула из дверной полочки отпитую наполовину бутылку водки, поставила ее на стол.

Повернувшись ко мне спиной, она что-то делала, наверное, готовя нехитрую закуску на разделочном столике, однако я уже плохо понимал, что происходит: движение дверки стронуло хрупкое равновесие стопки лежавших на холодильнике ученических тетрадок и одна из них, верхняя, слабо шурша крыльями, спланировала вниз, прямо мне в руки — тетрадка распахнулась на центральном развороте, и я тупо пялился в детские каракули, выводившие в клеточках листа рисунок какого-то очень простого арифметического ребуса, почеркан-

ного тонким красным фломастером, валявшимся на столе рядом с моей опустевшей кофейной чашкой.

Она как видно — не услышав признаков моего дыхания у себя за спиной — обернулась, поджала губы, выдернула тетрадку из моих пальцев, положила ее на место, села к столу, налила в рюмку водки, и, одним махом закинув в себя глоток огненной воды, шумно выдохнула:

— Ну и что?

Я налил себе и выпил.

— Ничего, — тихо выдохнул я. — Честно. Ничего.

— Лиза, хворала... — тихо произнесла Таня, глядя сквозь меня. — Ну а лекарства... Сам понимаешь... — возникла пауза, ее рассеянный, в никуда направленный взгляд понемногу начал теплеть и обретать смысл, уголки ее губ тронул намек на горьковатую улыбку, улыбка разрасталась, и я почувствовал прикосновение к щеке ее прочной — ровно как у Фро! — ладошки. — Ты хороший парень. Тебе не надо ничего объяснять.

— Да, — кивнул я, — не надо.

Я живо представил себе, как эта школьная училка младших классов, заглянув в один не самый прекрасный день в этот самый холодильник, понимает, что остается только положить зубы на узкую деревянную полочку, привинченную к стене над кухонным столиком, и решает обратиться к первой древнейшей профессии, которой и занимается в перерывах между службой в школе и проверкой домашних заданий.

Освоившись за месяц работы в теме, я знал, что существует небольшой, но сплоченный отряд таких вот надомниц, состоявший из вполне добропорядочных домохозяек, врачей районных поликлиник, сотрудниц каких-то нищих бюджетных контор, которые не видят ничего предосудительного в подобных подработках; подавляющее большинство из них, кстати, были замужем.

Слева возник какой-то тонкий, напоминавший жужжание маленькой пчелки звук — Таня накручивала диск черного телефонного аппарата, стоявшего на рабочем столе у входа в комнату; набрав номер, она попросила какую-то тетю Клаву позвать к телефону Лизу — Лиза, иди домой, детка, иди, мама уже освободилась! — и поспешил убратся из этого дома, и спустя пяток минут нашел себя в тенистом дворике дома присевшим на лавку, чтобы перекурить.

Пыхнув пару раз сигареткой, я поднял взгляд к окнам третьего этажа и поперхнулся дымом: в Танином окне стояла икона.

Во дворе-колодце было сумрачно, однако это не помешало мне различить за голубоватой мутью пыльного оконного стекла этот лик — то ли богоматери, то ли еще какой-то святой женщины: мягкий овал вытянутого лица, густой сумрак теней в подглазьях, продлившийся в сумраке темных мендалевидных глаз, в упор глядевших на меня, высокий чистый лоб, темные, расчесанные на прямой пробор волосы, и даже померещилось мне в неясном предвечернем свете, будто над головой ее парит тусклое, потемневшее в веках золото нимба.

Должно быть, Таня, встретив вернувшуюся от соседки дочку, выглянула в окно, чтобы проводить меня и махнуть на прощание рукой. Я поднял руку, помахал ей, она ответила тем же жестом и испарилась из оклада оконной рамы.

4.

С неделю назад Фро дала мне такое задание подготовить подборку занятных фактов из мира науки, которые можно использовать в нашем журнале. Я честно его отрабатывал несколько дней и вот теперь готов был доложить о результатах. Момент был подходящий. Вернулся я в редакцию позже, чем планировал, около семи вечера — учитывая посиделки на кухне у Тани — и по счастью застал весь наш штатный состав, за исключением Пушкинской девы, на месте: девушки обсуждали тематические перспективы на текущий месяц.

— А есть что-то новенькое из мира науки? — спросила Фро.

Я сверился с записями в блокноте и рассказал про японского доктора наук по имени Мицугу Шига, который сорок лет своей жизни посвятил исследованию взаимосвязи характера женщины с размером ее бюста.

— Тоже мне, бином Ньютона! — саркастически хмыкнула Твигги. — Я без этого твоего япошки знаю, что все бабы с большими сиськами...

Она прикусила язык, глянув на Фро, размер бюста которой, как известно, приближался к нулевому.

— Да, — кивнул я. — Согласно научным данным все женщины с большой грудью оптимистичны, жизнерадостны и сексуальны. А те которые... — я потупился, глянув на Фро.

— Ну! — строгим требовательным произнесла Фро. — Давай! Не тяни кота сам знаешь за что!

Мне ничего другого не оставалось, как только вынести приговор: обладательницы маленького бюста по жизни пессимистичны, стервозны и ревнивы.

— Фро, — покаянным тоном заметил я после паузы. — Ну ты ж понимаешь. Во-первых, все эти япошки — это отдельный народец, что им во благо, то всем остальным — смерть. А во-вторых, к присутствующим это не относится.

Мог бы я, зная Фро, и обойтись без покаяния — она улыбнулась и, обозвав меня садистом, потребовала продолжать. Я перевернул блокнотную страницу и поведал дамам данные, полученные французскими исследователями, которые, наконец, решили сложную научную проблему женского оргазма, точнее, увязали ее с цветом волос; в споре между блондинками, шатенками, брюнетками и огненно рыжими дамами верх одержали брюнетки.

— Так... — поощрительно протянула Фро, взъерошивая свои света вороньего крыла волосы. — Уже легче! Только я не понимаю, Илюшок, как эти лягушатники измеряли уровень мощности этого дела.

Этот уровень они не измеряли, пояснил я, лягушатники просто доказали, что ярко выраженные брюнетки до оргазма намного быстрее всех прочих.

— Ага! — вдохновилась Фро и шутливо погрозила пальцем светловолосой Твигги. — Съела!? Давай, Илюша! Что там еще есть у тебя в заглазнике?

Я поведал о результатах исследования доктора Эбенезера Гайлза из Мельбурнского ракового центра, который убедительно доказал благотворное влияние мастурбации на организм человека.

— Ну, по части ононизма тебе и карты в руки! Раз уж ты этим делом зарабатывал себе на жизнь... — едким тоном заметила Твигги.

— Зато я меньше рискую загнуться от рака! Потому что, согласно выводам доктора Гайлза... Минутку, цитата... — я пролистал блокнот. — Да вот она. «Чем чаще самоудовлетворение, утверждает этот знатный онколог, тем меньше канцерогенов накапливается в железах».

— Минутку! — перебила меня Алка. — А если — просто совокупляться?

Мне осталось лишь развести руки в стороны — на этот счет онколог ничего вразумительного в своем исследовании не написал. В коридоре послышался легкий шум, дверь протяжно охнула, в комнату влетела запыхавшаяся Таня Ларина.

— Извините... — выравнивая сбивающееся дыхание, произнесла она. — Задержалась... Встречалась с автором.

Фро метнула на меня красноречивый взгляд, намекая на то, что со скользкими темами пора завязывать. Я медленно моргнул в ответ.

Фро щадила трепетную душу Пушкинской девы. Собственно, мы все щадили. Потому я не возражал против того, что на меня как редактора навалилось большинство связанных с Основным инстинктом рубрик, тогда как Таня потихоньку тащила все относительно нейтральные; нейтральные — спорт, автомобили, оружие, выпивка.

Формируя в свое время тематическую концепцию журнала, Фро, наверное, исходила из того, что кроме секса, футбола пополам с пивом, хороших машин и оружия современного мужчину больше ничего не интересует.

Возможно, она была от истины неподалеку; так или иначе все пристойные рубрики занимали от силы четверть всего журнального объема, да и квартировали они на задворках стандартного номера, но я не роптал.

— Пирогов чего-нибудь новое подослал? — спросила Фро.

Она хотела еще что-то сказать, но ее отвлек возникший за окном острый истерический визг, переросший в минорное курлыканье, напоминавшее прощальные крики журавлей, улетающих от родных гнезд к теплым краям на зимовку; так печально курлыкал автоаларм принадлежащего Фро «Гольфа», припаркованного в переулке, у ворот домика с мезонином. Сдавленно чертыхнувшись, Фро вылетела из комнаты.

— Пойду кофе сварю... — промолвила Пушкинская дева. — Кто-нибудь будет?

Никто кофе на ночь глядя не хотел. Таня вышла, я покосился на валявшуюся на краю стола верстку полосы, с которой мне лучезарно улыбался доктор Пирогов.

В чью светлую голову пришла мысль обозвать именем великого русского медика придурка, выступавшего у нас в роли доктора-консультанта, отвечающего на письма читателей, мне было неизвестно; я подозревал, что этот сексолог вообще — некий мифический персонаж, ничего общего с реальным доктором не имеющий; во всяком случае, портрет, представлявший нашего консультанта, Твигги определенно стибрила из своего немецкого фотобанка — внешне он выглядел как типичный немчик лет тридцати с холеной, насквозь буржуазной розовой физиономией; Алка, впрочем, утверждала, что этот знаток интимных тайн существует в реальности, что зовут его, в самом деле, Пирогов Николай Иванович — единственная же натяжка материалов этой авторской рубрики состояла в том, что никаких писем от читателей не существовало в помине, их выдумывал сам Пирогов.

Всякий раз, просматривая эту рубрику, я живо представлял себе, как великий русский хирург ворочается в гробу, прислушиваясь к тому, какими советами потчует его полный тезки свою аудиторию; тем не менее, я любил изучать эти материалы — в природе не существовало лучшего средства для поправки настроения: в тех случаях, когда на меня невзначай наваливалась депрессуха, я раскрывал наш журнальчик на нужной полосе, прекрасно зная, что спустя минуту я начну истерически хохотать.

— Ну, Николай Иванович... — тихо сказал, я, обращаясь к фотографии нашего консультанта. — Чем порадуете на этот раз?

Консультант поведал мне душераздирающую историю молодого человека Кирилла Р., который дико горевал оттого, что у него в процессе роста искривился пенис — из-за этого его бросила любимая девушка.

Другой молодой человек, Максим Н. объяснял свой разрыв с возлюбленной тем, что она заразила его в ходе полового акта глистами.

Третий сетовал на то, что он любит предаваться любовным утехам с первыми лучами солнца, однако его подруга в таких случаях всякий раз гонит его в ванную почистить зубы; и все бы ничего, но процедура освежения ротовой полости почему-то всякий раз оборачивается приступом импотенции.

Дочитав полосу до конца, я от всей души, в полный голос, расхохотался — как раз в тот момент, когда Таня вернулась с чашкой, парящей ароматным дымком и сказала, что Фро просит меня составить ей компанию по перекуру. Я взял сигареты и поднялся в мезонин.

Глава пятая. Обнаженная с яблоком

1.

Она стояла лицом к приоткрытому окну, и смотрела на улицу. Дождь косо штриховал матовый шар, паривший в темноте над сонным ложем переулка — глядя на уличный фонарь, она как будто и не замечала, что из ее руки, упиравшейся в оконный откос выростал бледный росток сигаретного дымка; должно быть, она впала в тот род легкого забытья, который накатывает на человека, молча созерцающего текущую воду или ленивое колыхание голубовато-рыжих косм пламени в закопченной нише камина и не слышала, как я поднялся в мезонин. Я негромко кашлянул в кулак, приблизившись сзади.

— Илюша? — тихо спросила Фро, не оборачиваясь.

Я присел на низкий подоконник, ступая на который мы выбирались на балкончик.

— Фро, присядь, — попросил я. — Давай обсудим ситуацию.

Она кивнула, щелчком отправила окурочек в полет, закрыла окно и села рядом. Я обнял ее за хрупкое плечико, она ответила на этот жест, подавшись ко мне. С минуту мы молчали. Я толком не знал, с чего начать. Ничего нового мне в доме с бордюром на уровне третьего этажа, описанном Абросимовым в одном из последних рассказиков, узнать, как известно, не удалось.

— Фро, ты же сама видела. На ментов надежды мало. Придется нам самим... — я помолчал. — Ну, искать Абросимова. Завтра я загляну к нему. Поговорю с соседями. Мало ли... Кто-то что-то видел. Или слышал.

— Спасибо, Илюша. Если у тебя что-то накопилось по редакции, я это возьму на себя. Да и Алка поможет. Так что не волнуйся. Займись этим, займись, я тебя прошу.

Еще чуть-чуть и она заплачет, подумал я.

— Фро. Я понимаю, тебе это может быть не с руки... Но. Мне нужно знать про Абросимова как можно больше. Ты ж понимаешь. В конце концов, вы... — я умолк, не зная как сформулировать мысль.

— Время от времени просыпаемся в одной постели, ты хотел сказать? — с горькой усмешкой пришла мне Фро на помощь. — Да. Но он, знаешь ли, молчун.

Ничего нового из рассказа Фро узнать, в сущности, не удалось. За исключением того, что писака, как оказалось, был в свое время женат на какой-то критикессе. Но та уже лет восемь как укатила в Германию. Отправившись туда на какой-то литературный семинар, жена Абросимова толком не смогла поучаствовать в утонченных дискуссиях, потому что у нее дико разболелся зуб. Зато он обрела мужа — в лице того стоматолога, к которому коллеги силком сволокли ее. Скорее всего, этот парень выглядит ровно так же, как изображающий из себя консультанта Пирогова на фотке в журнале фриц — все эти холеные европейские медики, гребущие деньги лопатой, на одно лицо. Вернулась она в Москву только затем, чтобы подать на развод и укатить в неметчину. С тех пор о ней ни слуху, ни духу.

Абросимов, по словам Фро, несколько этот разрыв не переживал.

Я его понимаю. Жить бок о бок с глубокомысленной критикессой может разве что какой-нибудь античный герой, высеченный из мрамора.

— Фро, мало ли как фишка ляжет. Мне может понадобится машина.

Без проблем. Фро предложила мне взять ее уже похолодевший на своем веку «Гольф». Она завтра же оформит доверенность.

— А ты на чем тогда?

— Захар подкатил мне новые колеса... «Ниссан Примера». Новая модель. Только что у нас появилась.

— Ниссан — это круто. Кстати, а почему нынче овес для железных коней? А то я как-то оторвался от жизни.

С ума сойти! Оказывается, литр девяносто пятого стоит теперь четыре с полтиной. Воображение тут же подкинула мне живописную картину той трубы, в которую я вылечу, если буду раскатывать по городу на машине. Выражение моего лица от внимания Фро не ускознуло — она пообещала оплачивать расходы на топливо. И на прощанье пожелала не засиживаться у компьютера.

— Я и не собирался. Сегодня я ночую дома.

2.

Посторонний запах я уловил сразу, едва шагнул в кромешный мрак своего парадного (кто-то, разумеется, выкрутил лампочку) и поймал себя на том, что в последнее время отчего-то взял привычку чутко прислушиваться к тому, что подсказывает мне обоняние и слух — наподобие то ли слепца, то ли какого-то осторожного таежного зверя, за много верст чующего приближение охотника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.